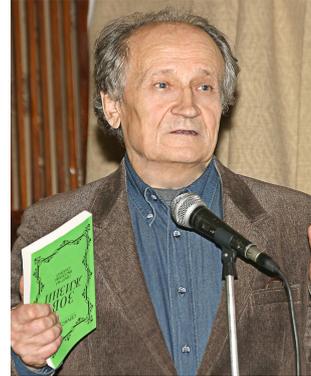

ПОВЕСТЬ

Владимир Мирнев
(г. Москва)

ГОЛОС КУТУЗОВКИ



Владимир Наканорович Мирнев — известный современный писатель-прозаик и литературный критик, президент Академии российской литературы, член редколлегии журнала «Приокские зори» и альманаха (журнала) «Московский Парнас».

Я услышал голос... Нет ничего пронзительнее и проникновеннее родного голоса, внезапно услышанного. Сколько бы мы ни изощрялись в поисках чего-то другого, у нас ничего не получится, потому что нет ничего другого более оглушающего, чем услышанный внезапно нами голос ушедшего от нас родного человека. Вот уж столько лет мне каждый день слышится голос моей мамы. Я слышу его ежедневно. В какой бы точке земного шара я ни находился — в Европе, Азии, Америке. Я не знаю, откуда он появляется, каким образом рождается, в чем смысл его — когда он звучит непрерывно в моих ушах. Словно отдаленный набатный звук. Чтобы будоражить мою душу неясными ощущениями? Трогать струны моего чувствительного сердца? Чтобы... чтобы. В человеческом мире нет тишины; в нашем мире живут одни звуки. Они исторгаются со всех сторон, обрушиваются водопадом на нашу душу, и земной шар — планета звуков. И наступает такой отчаянный миг, когда я слышу, как мое собственное сердце извергает само в подлунное пространство, в знакомый и невидимый мир, тот странный звук, который являет собою, из которого ткуются мои воспоминания, рождающие голос мамы. И тогда я устремляюсь навстречу тому голосу, ибо хочу понять, увидеть, ощутить живое естество того, кто дороже мне всего на свете. И тоска охватывает, хочется в такие мгновения приостановиться и представить себе, с чего началась эта тоска во мне самом. В том далеком времени понятия жизни и смерти существовали каким-то слабым отголоском — словно вспышка зарницы, словно тень за той разродившейся надо мною молнии, которая маячила в неизвестной мне стране, где нет грустных ощущений смерти. В потустороннем мире! В моих запомнившихся детских кутузовских ощущениях я имел дело с другим миром, о котором ничего не знал, о котором лишь смутно догадывалась моя душа. Я был слишком мал, чтобы понять тот смысл, который скрывался за чертой, разделяющей некую грань, за которой кончается видимое начало и начинается нечто другое. В те торопливые мгновения я жизнь по звукам знал. Вернее, я знал всего лишь ее звуки. Из общения с братьями и сестрами я представлял, что на свете живут только знакомые мне люди, которых видел каждый день. И еще много других существ, славных и вредных, и

других, мое отношение к которым определяла моя мама, ибо для меня только она знала, что есть хорошо и что есть плохо. Сибирь, вообще, страна загадочная. Она самая русская сторона, хотя и непривычная для нас в обычном смысле слова. Из ее дремучих недр, как из топких болот, может всегда появиться, высунув голову, и посмотреть своими глазищами на вас нечто, при виде которого у вас от страха забьется сердце.

Как мама узнала о гибели брата Алексея, которого все в семье звали нежно — Леня — о том лишь можно догадываться. Похорожки в Кутузовке разносил почтальон, и он, видимо, явился причиной этого узнавания. Я помню, я помню, я помню... память мне о том говорит и подсказывает — темная морозная ночь, доносится тонкий посвист метели, завывающей в печной трубе и виден еле-еле заметный пробивающийся тонкой полоской свет от керосиновой лампы из-под неплотно притворенной в нашу маленькую горницу двери... И детские ноги сами собой опускаются с печи, нащупывая холодный дощатый пол, вслед за мною поднимают головы и — старший брат Ваня, и младший брат Витя, и вот мы уже подбегаем торопливо — быстро к сидевшей на шатком табурете подле печи мамы, склонившейся над фотографией Алексея и беззвучно проливавшей вот уж которую ночь слезы: «Родненький мой сыночек, Ленечка, да как же я тебя не уберегла? Да ты еще такой маленький, да некому было тебя защитить от пули проклятой немецко-о-ой...» Мы одновременно бросались с похныкиванием к маме, умоляя, упрашивая не плакать, обнимая ее и прильнув всем нашим существом к милому, доброму, извечно дорогому маминому естеству, своим прикосновением стараясь разделить то страшное горе, которое мы детским умом еще не могли осмыслить, хотя и чувствовали его через маму его. Как младший Витя в свои четыре года мог понять это? Я знал, что человек может умереть, погибнуть, но что он больше никогда не вернется домой, и мы его не увидим в этой жизни — это осмыслить четырехлетнему ребенку было невозможно. А ведь на фронте бились насмерть с фашистами еще и — папа, и старший брат Андрей, которого я, признаться, в лицо никогда не видел (его призвали в армию до моего появления на свет). Он воевал на финской, потом плавно перевели его на фронт Отечественной, затем отправили на японскую войну... и вернулся он домой после окончания всех войн, то есть спустя восемь лет.

Когда на моего брата Алексея пришла похоронка (погиб под Кёнигсбергом), и мне, шестилетнему мальчику, старшими братьями и сестрами было уговорено не сообщать о том маме. Вот только тогда я вспомнил, как прошедшей осенью, отправляясь добровольно на фронт, убивался в слезах на проводах на фронт наш Леня, целуясь и обнимая всех не только нас, но и коровку нашу, каждую овечку, собачку, кошку и даже кустики в садике, яблоньки... Мне в мои годы доверили страшную тайну, могущую защитить маму. Шесть лет и — страшная тайна. Как подобное можно было совместить с моими годами, то тоже не поддается моему пониманию. Но ведь Вите вообще не было еще и четырех годиков, а ему можно было доверять. Я не могу представить взгляд моих глаз на маму в то время. Мои глаза, полные скорби, — это были глаза жалости. Но Вите на этот раз ни о чем таком не сказали, потому что слишком велика потеря. Он мог заплакать и выдать маме тайну.

* * *

Кажется, с этих пор я стал присматриваться к моей маме, догадываясь о чем-то и ничего не понимая. Как она, такая исхудавшая, в исстиранной длинной сатиновой черной юбке, в старенькой в горошек кофточке с засученными рукавами, мелькающая из дома в сарай и обратно, таская для телят, индюков, гусей и овец — то пойло, то картофельные очистки, ухитряясь одновременно еще и отправлять в школу Марию, Надю, не говоря уж о старших сорвиголовах — Коле, Сане, Ване и приемной

нашей сестре Марии, которой так хотелось учиться, чтобы «стать человеком»? Но ведь взрослые не обращали на меня внимания, как не обращали внимания и на моего любимого кота Ваську, на моего любимого тоже песика Шарика, и на хромоногую ягненка Шаха, по случаю небывалого мороза взятого в дом из сарая, и на крякавшего из-под кровати довольного теплой своей судьбой утенка Белого с отможенным носиком — немалая наша семья. Я уж не говорю о корове Марусе и других важных персонах. Мамой часто овладевало беспокойство, боязнь, что ей не совладать одной с немалым хозяйством, с большой семьей. Руки у нее цепкие, но все же бабьи руки. Но сколько было нервной решимости в ее порывистых движениях, в растерянных глазах, как она прикидывала, размышляя вслух, сколько ей надо очистить картофеля, сколько Наде и Марии, и о том, как трудно с приемными детьми на этом свете — голос повысить нельзя, хотя надо признаться, ни на кого мама голоса не повышала. А «шлепать» приемную Марию, да еще по отчеству Моисеевна, которую приютили папа с мамой, присланную по разнарядке из далекого Поволжья в тридцатых годах, еще до моего рождения, когда там от голода вымирали целые селенья — Боже упаси! Все село отказывалось удочерить четырехлетнюю девочку не только по причине ее отчества, но еще и по той причине, что у всех были свои большие семьи. Но мама тогда сказала папе, которому как председателю колхоза выпала тяжелая обязанность распределять беспризорников по «дворам»: «Где шестеро, Никаша, там и семеро. Никто не возьмет, а мы — такая обязанность у тебя. Как райком сказал, так и будет, хотя у нас своих уже шестеро. Ребенок ни в чем не виноват. Все дети — ангелы Божьи». «Ты будешь называть меня папой?» — спросил отец совсем чужого ребенка. «Если купишь пряник, буду», — последовал ответ. Так собиралась наша большая семья. У меня имелись замечательные старшие братья. На зависть врагам моим, ибо они своих, младших, в обиду не давали. В больших селах преобладали и большие семьи; в борьбе за лидерство между семьями борьба подчас принимала острые формы. Правда, война с Германией на некоторое время сплотила всех, даже врагов, против общего врага — фашистов. Даже у наших сельских немцев, которые жили рядом с нами в селе, те немцы, что фашисты, то есть из Германии, числились во врагах. А мой верный дружок Артур Молендор, так он просто клялся в том, что яростно ненавидит фашистов из Германии и готов идти на фронт сражаться с ними. Если его пустят, конечно.

Невозможно дать ответы на все вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Ибо ну как можно спросить: желает ли человек жить? Или: почему ради другого я должен отдать свою жизнь, даже если это всеми любимый вождь Сталин или тот же Ленин? В чем смысл человеческого существования? О чудовищном человеческом эгоизме столько наговорено в истории. Но, вероятно, имеются какие-то замечательные штрихи в поступательном движении человека, которые обычный глаз человеческий не замечает. А? Мы ведь прежде всего видим, как говорил мой мудрый отец, дворец и живущих в нем, но не замечаем простой жалкой лачуги под ржавой крышей в глубине двора — наш домишко. Хотя у нас во дворе рос и тянулся всеми своими поблескивающими на солнце и вечно шуршащий огромными листьями высоченный тополь. Слово князь-богатырь, а вокруг села — теснились низкие березовые колки, которых мог любить только человек, родившийся среди них, и — люди, как люди во всем мире, вечно торопились по своим делам с утра и до вечера. Вечно озабочены собственными мелкими делишками, такими ничемными с точки зрения мировой истории. Ибо издали (слова моего отца!) мы видим лишь вершины больших гор и не замечаем кустарник и деревья на склонах этих гор. Так мы не усматриваем рукотворные дела простых людей. Мы зрим дворец, но не видим камни, из которых он сложен, Вот в чем загвоздка человеческого бытия, особенность русской природы, ее психологии, которая ощущает лишь дальнее, но не желает видеть ближнее, то, что

рядом. Мы знаем о любви Ромео к Джульетте, но о миллионах человеческих душ, которые страдали гораздо глубже, и трагичнее сложилась у них судьба — никто о них не знает. В нашей же Кутузовке! Что о том говорить? Мы знаем о любви Татьяны Лариной к Евгению Онегине. Но Россия огромная, и всю ее не вместишь в душу одного человека, даже если это душа гениального человека. Что говорить? Наш двор с сараями, с высоченным тополем, раздваивающимся на середине своего роста, с темневшим в ветвях скворечником, с домиком под железной крышей казался мне огромным. Перед самым домом красовалась с высоко задранной в небо трубой из красного кирпича и самана летняя печка — летом в ней стапливали кизяк, коптился старинный казан еще времен хана Кучума — чаще всего в нем варился суп, который, казалось, должен был пахнуть кизяком. Но запах в нем ощущался несравненный, то был запах исключительный. То был запах жизни. Он всегда незабываем. Суп с лапшой или мучной затиркой — чаще всего. Быстро и сытно! Попробуйте! А полный казанок разварной картошки — это ни с чем несравнимый запах! Покушайте! Здесь же находился низенький столик, сколоченный из досок и покрытый какой-то изобретательно сотканной холстиной. Подле него на игрушечный табурет усаживалась мама — булькало в казанке, стеной оттуда валил пар и по всему двору расплывался изумительный запах приготовленного ужина, текли слюнки даже у Шарика. Особенно бурно начинал вертеться возле мамы самый маленький, братик Витя, усаживаясь к маме на колени и, замороженно глядя на валяющийся клубами пар, сладостно потягивался в предвкушении ужина. Я, конечно, тоже находился рядом.

Уже смеркалось. По улице нестройно шествовало сопровождаемое всезнающим пастухом Козьмой с посохом в старческих руках коровье стадо — с долгим многоголосым мычанием. Каждая корова, однако тем не менее, с большим чувством собственного достоинства направлялась, как госпожа, к своему двору, догадываясь и зная, что ее ждут дома с нетерпением, как родную мать, как кормилицу, как ждут того, кто кормит семью. Ведь ждали ее — и дети, и телята, и ягнята, и щенята, и цыплята, и котята, и, пожалуй, даже сам дом под железной крышей ее ожидал. Затухающий малый огонь еще курчавился розовыми змейками в печурке и бледные блики плясали на исхудавшем заострившемся мамином лице, отражаясь на самом доньшке ее глубоких глаз, расширенных от усталости, в которых слово надежда тлел далеких фитилек жизни. Но вот как бы в продолжение моих мыслей призывно и длинно, с укором, что ее не встречают, протяжно промычала наша однорогая Маруся, коровушка, сообщая о своем появлении. Придерживаясь рукой за натруженную за день поясницу, приволакивая левую ногу, заспешила отворять ворота мама, ибо со своим раздувшимся от поглощенной сочной травы животом наша Маруся бы в постоянно отворенную калитку не протиснулась. Из белого тугого ее вымени тонкой струйкой сочились при движении молочко, орошая землю. Ах, как облизывался маленький Витя! С каким подобострастием он стерег каждый мамин взгляд, переводя взгляд то на маму, то на коровушку Марусю, и плакал от счастья — что Маруся возвратилась целехонькая и невредимая, и в душе восторгался от неслыханной удачи, ибо был абсолютно уверен в том, что все его любили неслыханно. Отчего и жизнь казалась необыкновенной, замечательной — от любви! Как везло ему в столь тяжелой жизни! Коровушка Маруся не подвела и как прекрасно жить, когда Маруся, приподняв свой длинный хвост, исторгла под восторженным взглядом Вити целую кучу коровяков, по-своему трезво и деловито готовясь к дойке. Что и говорить, жизнь несказанно правильно распорядилась, создавая столь разумное существо, как коровушка, для человека — вот что читалось в хитреньких глазках братика. Он догадывался, что не стала бы мама отдавать лучшие куски со стола Маруси, не стала бы ее называть именем своей старшей дочери, привязывая как бы именем напрочь к судьбе своей семьи и не стала бы она с такой нежностью и ласковостью поглаживать по ее мордашке,

спине, поить кристальной водичкой из казенного колодца, кормить пшеничными отрубями, замешанными приправами каких-то трав, не стала бы мама недоедать, чтобы отнести свою еду Марусе, прикармливая нашу кормилицу и ведя с нею тем временем целыми часами беседы о трудностях собственной жизни. Мне пришлось в этой жизни возмужать, потому что так устроена жизнь не только для меня, но и для всего человечества, и даже для всей планеты, для всей Вселенной. Мне и хотелось быстрее подрасти, не как младшему Вите, которому постоянно желалось оставаться маленьким, ибо он мечтал постоянно находиться под крылышком мамы, рядом с коровушкой, с курами, цыплятами и гусятами, и утятами. Маленький братик пугался и дрожал от одной мысли, что что-то может измениться вокруг. Но меняется все вокруг, и это надо знать, но все, переменившись, будет повторяться с самого начала. И то надо знать, чтобы выдержать и перенести перемену: если земля наша есть начало всего в жизни, то это может означать одно: она может стать и ее концом. Не стоит углубляться в смысл сказанного, ибо так оно и есть...

Прошло еще несколько лет, и мама стала брать меня на косьбу выделенных нам под сено колхозом делянок. Самые старшие братья воевали, средние братья с утра уходили работать на победу — Ваня, Шурик, а мы с мамой приноровились подкашивать поляны, где росла лесная душистая травка, поднимался густой березовый молодой подлесок, папоротник, различное разнотравье. Мама любила такие поляны, на них росла густая, пахнущая земляничной ягодкой травка. А если мама любила, то значит, и коровка Маруся тем более любила. Мы приходили спозаранок в лесок, косили росную еще траву, а вечером возвратившийся с полей пораньше брат Шурка увозил уже подсохшее за жаркий день сено на старой скрипучей нашей телеге, в оглобли которой он запрягал норовистого бычка Мишку. Сено можно было косить и вечером. Но косить траву надо рано утром, таков у травки норов, что косить ее необходимо только утром и по росе. Перед восходом солнца травка любит свои превращения в сено. Вечер — время дойки, которую мама не доверяла никому, даже умной сестренке Надюшке, а уж что говорить там о самой старшей сестре Марии, удравшей без позволения мамы на фронт и возвратившейся оттуда после того, как железнодорожный состав, на котором она удирала на фронт, немцы разбомбили под Москвою и ее ранило в бедро. (Но медаль «За отвагу», как обещали в военкомате, так и не дали.) Бегство для Маруси нашей закончилось плохо, рана сильно болела. В сенокосные дни мы с мамой вставали раньше всех, мама еще раньше меня. Вселенная еще подремывала, как кот Васька на печи, расточая вокруг и по всей нашей планете томное урчание и скрипучие вздохи, которые источали поля, леса, и дома. Еще дрожала чистая, умытая росой, низкая над горизонтом огромная Венера, моргая и посылая мне свои приветствия сквозь опущенные мои ресницы: я спал на ходу. Мое сердце торопливо колотилось от холодного воздуха — в ожидании неминуемой радости, и мне казалось в тот момент, что я в мире один. Мама — словно в далеком пространстве, на вершине высокой горы, где обитают ангелы и сам Бог, а я один на дороге жизни. Сильно пахло росой и гнилой корочкой подгнившей березы. Косы еще с вечера наточил Шурка. Только он один мог справляться с этим. У Паламарчукового леса мы посидели на поляне чуть, поразмышляли о том и о сем, принялись за косьбу. Восток ронял на землю яркий свет зари в полнеба; тот свет проникал сквозь листву берез на нашу луговину и алчно алкал росу с листьев трав и деревьев. А, как было хорошо! Как ровно и красиво укладывался мой валок, как ловко и могуче махал я косой и как сладостно от радости случившегося рделось в груди. Сама травка клонилась мне под косу и говорила певучим голосом косы, звеневшей радостно и вольно: «вот я — вот я, вот я!» Утром вставать трудно, а косить легко. Низенький березнячок так и укладывался под косу, как бы догадываясь, кто его будет зимою, похрумкивая, поедать за милую душу — коровушка наша однорогая, Маруся! В этот раз я удачли-

вее обычного подкашивал молоденькие березки — что особенно мне нравилось, показывая тем самым маме свою взрослость и силу — семь лет, то немалый возраст для села. Мама, взмахивая косой, медленно двигалась впереди и чуть сбоку — это чтобы не мешать мне. Я в это утро чувствовал себя если не владыкой Вселенной, то настоящим мужчиной — точно. Упруго, легко, с некоей даже бравадой — вот как я могу косить, вот какой я замечательный косец-молодец, — и могу еще сильнее, еще быстрее, могу так, как никто не сможет. Коса моя так летала туда-сюда и снова туда, так и пела свою песнь победы и торжества. Когда на моем пути встретились низкорослые осинки, словно кустики, то я поднатужился пуще: косить осинки еще слаще! Я заметил, как из-под косы вылетела куропатка и, квохча, как наседка, припадая на крыло, — что от хитрости, конечно, трепеща крылышками, по-над самой землей полетела прочь и присела невдалеке, словно раненная. Куропатки всегда поступали подобным образом, сколько я помнил, желая отвлечь внимание от своего гнезда. Лисицу или собаку можно обмануть, но не меня же. Я оглянулся на куропатку как раз на очередном взмахе косы, уж больно интересно — далеко ли отлетела, и с особой легкостью потянулся косу на себя. Взяло любопытство. И в этот момент услышал, как вскрикнула мама. Что такое? Оказывается, я острым концом косы задел ее ногу. Она присела, как подкошенная березка; из ее страдальчески вмиг потухших глаз катились крупные слезы, какие бывают при сильной боли. Она зажала рану рукой, стянула с головы белую косынку и чтобы не потерять много крови, перетянула ногу повыше раны. У меня дрогнуло в сердце, но я, кажется, до конца не мог понять, как ужасен мой поступок. Во всем этом чудовищном действе был виноват один человек, который сохранил боль матери в своем сердце до конца жизни. Тем человеком был я.

— Беги, сыночек, домой, пусть Нюра возьмет сельповскую лошадь и приедет, мне одной не добрести, — проговорила онемевшими губами мама, сдерживаясь от рыданий. — Торопливее только, сыночек.

Ни упреков, ни лишних слов, только больной взгляд укоризненный. Укор не мне, а той самой жизни, которая так с нами обошлась. Я смотрел, как краснел на моих глазах от проступающей сквозь ткань крови платок и — побежал. Я даже подумал, что мама могла умереть. Смерти я не боялся ни своей и ни чужой, потому что не знал, что это такое. Но читал о «затухающих пространствах, называемых жизнью». Я боялся, что и с мамой может произойти тоже самое, а ведь она для меня та же планета, та же Вселенная, которая имеет права затухнуть навсегда. Но, слава Богу, что мы с сестренкой Нюрой, замужней, жившей отдельно от нас, перевезли маму на сельповской бричке домой. И после случившегося мама долго лечила ногу травами и мазями. И ни разу не упрекнула меня до конца своей жизни.

А весной, в апреле, лишь только-только сошел на открытых местах снег, случилось не менее ужасное событие. Хозяева коров стали выгонять своих кормилиц, чтобы они паслись на прогалинах, где стаял снег, на которых появилась только-только молоденькая травка, скорее всего то была прошлогодняя трава, которую с большим удовольствием пощипывали коровки. Конечно, под присмотром свободных людей, то есть детворы. Самое открытое место у нас в Кутузовке — перед кладбищем, тут солнцепек и место для игры в лапту самое подходящее. За кладбищем у сельчан был особенный уход. Кому-кому, а мертвым должно быть не стыдно за живых на этом свете — и могилки всегда ухоженные, цветы и березовые веточки, то постоянно на могилках летом. В нашей Кутузовке — особое почитание умерших. Из древности известно, что нравственность и мораль людей определяется их отношением к умершим. То всем известно. Если уважается память о людях умерших, то это означает, что уважаются законы и живут в такой стране приличные люди. Глубокая канава опоясывала наше кладбище, высокий деревянный забор — все говорила об уважении к мертвым. Я так увлекся игрой в лапту, играли мальчики и девочки, что и не заме-

тил, как наша Маруся угодила в глубокую канаву, опрокинувшись туда спиной вниз. Она, бедная-бедная, дергалась ногами и никак не могла встать, Несколько часов так продолжалось: я оглянусь, смотрю, коровы пасутся — то ли есть наша Маруся, то ли нет. Не мог же я представить, что Маруся тем временем, сверзившись, лежала в канаве на наледи. Только когда закончилась игра, в тот именно момент я обнаружил, что Маруси нет среди пасущихся коров. Прибежав домой, я убедился, что и дома ее нет, вот тогда кинулись на поиски мама, Шурик и все остальные, кто постарше был. Марусю обнаружил в канаве вездесущий Шурик. Она с трудом дышала и к вечеру умерла, хотя должна была вот-вот отелиться. Мама слегла, а мясо коровки решили засолить. Всем управлялся Шурка, как самый старший. Разрезав живот Мани, он обнаружил в чреве ее живехонького, здоровенького, молочного теленочка. И извлек на свет божий будущую коровушку Марусю.

После всего мама долго не вставала с постели. Но спустя время, стала подниматься и, придерживаясь за стены, стулья и, опираясь на палку, уходила в сарай и о чем и о чем-то там говорила сама с собой. Я долго чувствовал себя виновным. Мне постоянно хотелось после того случая плакать. Я был виноват перед мамой прежде всего, ибо чувствовал, что моя жизнь — ее боль. После таких мыслей очень хотелось умереть, чтобы не приносить ей неприятности. За один ее скорбный с затаенной болью взгляд я готов был исчезнуть с лица земли. Мир был несправедлив ко мне, я это знал. Мама все поняла и решила проблему по-мудрому.

— Вон видишь, сыночек, по улочке нашей бредет нищий старичок, нельзя обижать его, потому что то, может быть, бредет сам Христос и думает: а ну-ка кто тут у меня на самом деле хорош, добряк? А кто и плох? Всегда подай нищему, то ты подаешь самому Богу. И не злись на людей. Не от ума то. Даже самое страшное в жизни — тоже жизнь. — Она говорила, а сама смотрела на меня, на своих детей, на весь мир человеческий, клубком роящийся вокруг нее, своими приостановившимися глазами.

После того случая прошло несколько лет. Пронеслись десятилетия, рождались и умирали целые народы, велись большие и малые войны, как говорят локальные, но простые, незатейливые эти ее проникновенные слова для меня важнее и весомее тысячи прочитанных мною научных, заумных книг, не научивших человечество за две тысячи лет ничему хорошему, что осталось бы с человеком навсегда, на всю жизнь и хранилось бы им, как зеницу ока. Ибо высший смысл на земле для всяк сущего, видимо, в самом естественном, то есть простом: уважай в человеке самого себя, считай, что человек создан Богом по своему образу и подобию не случайно, а преднамеренно — для уважения самого себя в другом. Когда с войны вернулся больной, контуженный и весь хворый, с открывшейся раной на ноге отец, стеноя и охая ежесекундно, и стал приноравливаться к забытой за время войны старой жизни и часто заговаривал о судьбе нашего народа, которому жить стало невмоготу, то мама в ответ, не как обычно раньше, резонно возражала:

— Гляди, чтоб тебе жилось славно, ибо как тебе, так и народу. Не хуже и не лучше. Одинаково. Вон Лени-то нашего убили, а Дрюню-то держат в армии-то, знать то не случайно, воевать замыслил вождь-то наш. Ой, не случайно то все. Вон как народ в загоне держат, как скотинку какую. Пять лет для него-то мало! Охранять их, правителей, надо? Всех кутузовчан поубивало! (Я впервые услышал это слово-кутузовчане.)

— Кого их, Ефросиньюшка? Нас! — возмущался ничего не понимавший отец, но уж и постигавший смысл ее слов.

— Нас не надо, сами не без рук, а для себя нас они не жалеют, — не уступала мама, ранее всегда уступавшая отцу. — Голос безбожников на небе не услышат. Конеч-то им будет!

Отец, вернувшись с фронта, почти не покидал больницу, дома появлялся урыв-

ками, чтобы посмотреть на детей, поговорить с мамой, располагая к себе дочерей и сыновей рассказами о войне, о прошлой своей загадочной и таинственной жизни, намекая на высокое свое происхождение до революции, говоря как-то очень запросто о князьях Долгоруких, о прочем и всяком таком разном. Он был не так уж и стар, хотя у него катастрофически выпадали волосы. Но молодые руки, как ни странно, выдавали его молодость, да еще большие жалостливые голубые глаза говорили за него о том, что жить ему осталось совсем немного. И о том отец знал наверняка. Не по этой ли причине он постоянно искал смысл своей прожитой жизни? И не находил. Он видел смысл в нас, но этого ему казалось мало. Он уже просчитывал: а как она, его любимая Ефросиньюшка, будет после его смерти, когда он отправится в мир иной, вести семью? На работу он пошел председателем Дубровского сельского совета. И многим помог. И работать пошел, кажется, исключительно ради одного — помогать другим. Отец проработал несколько лет. Это он привил у меня любовь к чтению книг. Это мой отец привозил в бумажных мешках книги для нашей Кутузовской библиотеке из Шербакуля! Я эти книги читал дни и ночи напролет. Он меня научил в восемь лет знать все столицы всех стран мира. Он мечтал видеть меня дипломатом. И я некоторое время стремился к этому. Но вскоре у него открылся туберкулез, и он наотрез отказался возвращаться в очередной раз в больницу, чтобы умереть дома. И целыми днями и ночами, не смыкая глаз, лежал на теплой печи, наблюдая за своими детьми, прежде всего с грустью лоя мои взгляды, может быть, по той причине, что он любил меня больше всех, ибо я был единственный из десяти его детей, кто повторил его физический облик полностью, был создан по образу и подобию его. Он, конечно, любил всех нас, маму, сыновей своих и дочерей, всякую животину, дом наш и тополь, и только горько ему было от осознания, что его, ушедшего на фронт, выбрасывают на свалку жизни. Он не нужен никому, кроме домашних. Жизнь его была нужна, а теперь, когда она кончается, он никому не нужен. Ему предлагается мир иной, мир ушедших...

Умер отец летом сорок девятого, в самом начале, когда жить после зимы стало так весело, свободно и легко. Так широко и радостно дышалось на прямом воздухе, нежном, зеленоватом среди пахучей зелени. Рай! И среди Рая на земле нас посетила смерть. И взяла душу отца. Не берусь судить, но, пожалуй, самую нежную из всех. Мама рыдала. Она знала, что наступают в человеческой жизни минуты, когда смерть — лучшее, что могла придумать жизнь. Она не плакала. Она тоненько поддывала, оплакивая смерть мужа и свою с ним жизнь. Его, которого любила. Я неожиданно открыл для себя, что мама безнадежно постарела. Она — старая. Перед последним вздохом отец все-таки, несмотря на уговоры матери, сполз с печи и плюхнулся в ноги матери, проговорив: «Прости меня, Ефросиньюшка! За все горе человеческое меня прости!» Это были его последние слова на этом свете. На свете, который так любили мы, дети его, которых он тоже любил бесконечно.

Черный платок подчеркивал сухость и старость ее лица. Медные пятаки на огромных красивых некогда глазах отца, ныне прикрытых навсегда, бросались своей странностью, рождая в душе жутковатой ощущение присутствие в доме иного мира. И мне стало больно, и я тоненько, нудно и надрывно зарыдал, пытаюсь погасить свою боль по утере навсегда любимого отца. Особенно меня поразило то простое обстоятельство — на улице всюду светило яркое, истекающее жарой, солнце, с особенной неистовостью напевали скворцы, зяблики, надсадно кричала в недалекой рощице иволга, драчливо сустились воробьи, трещали сороки, словно перед дождем взволнованно кукарекал наш петух Петька, нет — и не верилось, что у нас в доме поселилась смерть, что умер отец, глава нашего небольшого государства на планете Земля. Я прислушался — жалобно поскуливал Шарик. Как подобное могло иметь место в жизни? Но наступает время и день у каждого земного человека, когда часы, дни, го-

ды и века не имеют временного отличия, наоборот, дальше видится лучше, ярче, ближе. Это не обман зрения. То состояние человека. Не случайно природой обозначен эффект дальновзоркости у человека. Таким же эффектом дальновзоркости снабдила природа и нашу память. Недаром человек не имеет возможности ничего не помнить до конца своей жизни. В равной степени можно ведь помнить через сто лет и через тысячу так же ярко, как помнишь вчерашнее: вот прошло пятьдесят лет, а я помню, словно случилось то вчера, как рассек брошенным камнем брату Вани мизинец на правой руке и как кинулся убежать от него, боясь мести. Все помнится. После смерти отца мама будто тише стала ходить по земле — словно от тяжести груза ответственности, взваленной на ее плечи перед памятью мужа за детей, за погибшего сына, за неясное и неопределенное будущее. Что мог заработать ребенок, который с утра и до вечера пропадал на колхозном поле, пропалывая пшеницу, — десять граммов пшеницы на трудодень! Мы, семи-восьмилетние ребята с утра уходили на прополку пшеницы, полагая, что идем на заработки. А получали — пшик! Надеяться приходилось лишь на свой огород. Кончилась война, но не простое опустилось на нас время. Старший брат Андрей все еще находился в армии, его жизнью распоряжались правители, как хотели, а Алексей погиб, а раз погиб, то память о нем ведь никому не нужна. Она нужна только родным. Брата Николая забрали служить, на подходе для службы в армии находился Шурик. Одним словом, страна решала свои проблемы за счет нашей семьи, ставя на кон жизнь моих братьев. Главная надежда у нас одна — мама. Помощи ждать было неоткуда, хотя мама имела орден «Мать — героиня», которым награждали за рождение десятерых детей. Нам даже пособие за убитого брата Алексея, строя уловки, сколько мама ни билась, не выдавали. Лишь порою природа сочувствовала нам — преподносила замечательный урожай на нашем собственном огороде, который вдохнул прямо новую жизнь в сникшую душу нашей мамы: картофель уродился! Этой осенью мы собрали сто мешков! Такая крупная, рассыпчатая, пахучая и просто замечательная картошка рождается только в Сибири и лишь в селе Кутузовка, что находится в Омской области. Не верится, что еще где-то в другом месте могла уродиться картофелина весом в восемьсот пятьдесят граммов. Я бегал по селу с этой необыкновенной радостной вестью, показывая ее сельчанам, говоря, что это не картофель, а самое настоящее чудо! Директор нашей школы Безуглов, зайдя ко мне с картофелиной, хмыкнув при этом, сказал, что только французы могут выращивать такой крупный картофель, потому что у них климат хороший. Теперь зима нам была не страшна! Ура! Мы были окрылены, имея в погребах сто мешков картофеля. Да какого! Надежда придает человеку нечто окрыляющее.

А следующим летом одна приятная весть следовала за другой. Первая — неожиданно и безо всякого предупреждения демобилизовался старший брат Андрей, наш Дрюня. Высокий, весь какой-то большой, загорелый и красивый, в кителе, при орденах и медалях, в трофейных хромовых сапогах, зеркалами поблескивающих на солнце; в его лице имелось нечто такое — что бывает у солдат. Надежность — вот что это такое. Это была последняя радость отца — возвращение сына! Где отец достал старинную бричку, которую у нас называли трашпанкой, чтобы привезти со станции Марьяновка брата Андрея домой? Мы с ребятами торопились на котлован купаться, и нам на встречу попалась эта самая трашпанка. Больной отец сидел гордо и вдохновенно: он вез сына-победителя домой! Как сияло лицо у отца! Это невозможно забыть. Сколько было в его глазах гордого блеска! Я носился по селу и кричал своим друзьям и врагам, что вернулся наконец-то из армии самый сильный человек на селе, который своими руками поймал немецкого Гитлера, мой брат Андрей, герой Отечественной войны, что у него вообще сто орденов. Я, конечно, сильно преувеличивал, но так хотелось, чтобы это была правда. К нам в это лето со всех сторон валило счастье, потому что через месяц на побывку из армии для встречи с Дрюней, ко-

того он не видел восемь лет, прибыл из армии брат Николай. Радость перехлестывала через край, и мы на какое-то время стали самой счастливой семьей в Кутузовке. Я просто не имел права пропустить такое событие мимо себя. Я даже стал спать плохо от возбуждения, разумеется, и как-то однажды ночью проснулся, вышел во двор и вижу: там, где у нас находилась баня — свет! В окошке. Я с осторожностью прокрался на свет и вижу: в бане за столиком сидит брат Андрей, а напротив на стульчике, подавшись вперед грудью, всматриваясь в лицо старшего, примостился Николай и держит в руках... Никто не сможет отгадать, что я увидел в руках его — пистолет. Самый настоящий! Я никогда не видел в жизни пистолет, но понял, что это именно пистолет. У меня сердце дрогнуло от радости. Ах, какой молодец братец Дрюня, не забыл, возвращаясь из Германии, о главном — о пистолете. Ну, как можно военному человеку жить без пистолета в родном селе? Дрюня непрерывно рассказывал о приключениях на фронте, о том, что выжить на фронте умному человеку — раз плюнуть! Главное — не зевать и быть внимательным, стрелять первым. Особенно это важно в разведке. И второе правило выживания — это все, что ни горит, накрывать телогрейкой или шинелью — чтобы потухло. На следующее утро старшие братья отправились в лес пострелять якобы из ружья и отказались взять меня с собой. Но я-то знал, что они идут пострелять из пистолета. И Ваня хотел отправиться с ними, и Витя. Никого не взяли старшие братья. А через неделю у нас в доме появились милиционеры с обыском: кто-то донес, что приехавший брат Андрей привез с собою пистолет, за что полагалось два года тюрьмы. Два милиционера осмотрели весь дом, порылись для порядка в сундуке. Милиционеры и чекисты ушли несолоно хлебавши. Я потом долго гадал: видел ли на самом деле пистолет или мне померещилось?

— С обыском у нас многие бывали, то красные искали у нас что-то, то белые приезжали за фамильным золотишком, думали, что у батьки его целые большие горы, и он его носит с собой в кармане, вот теперь большевички забеспокоились, окрепли, защитили их от немцев-то, восемь лет воевал, дома не был, а теперь ему пистолет не доверяют даже,— с горьким упреком говорила мама за столом во время обеда.— Что одни, что другие, все против человека, только за себя. Ездить на людях — ох сладко как! Человек все может, царя убить, церковь разграбить, как у нас советы сделали. Ваш батька все отдал в колхоз, когда его организовывали. Восемнадцать дойных коров, тридцать пять лошадей и семнадцать бычков, а кур одних, то за тышу перевалит, считать перестали, триста пятнадцать уток и гусей, и индюков, все своим горбом нажитое. Одиннадцать топоров имелось — остался один, остальное отдал он. За что его назначили председателем колхоза, первым на селе.

— Мам, а где вы познакомились с папой? — спросила нетерпеливая Надя.

— Где, где... погоди, Надя. Появляются тут уполномоченные огэпэушники, чекисты и при оружии и сразу к отцу: «Вот что, Никонор Алексеевич,— сказали,— мы все про тебя знаем, что на богатой крестьянке женился, отец ее по Столыпину здесь землю получил, разбогател и твои письма в Москву читали. Перехватывали, больно грамотные они у тебя. Не белая ли косточка у тебя? Мы не спрашиваем обычно — мы сразу стреляем. Что все сдал до последнего, то советская власть учтет и зачтет в плюс тебе. Что и топор один оставил — знаем про то. Ты первый сдал весь скот. Сознательный, выходит. В Кутузовке открываем колхоз. Ты будешь председателем. Если твой ответ будет отрицательный, наш ответ будет один: Наган Иваныч скажет свое слово! Понял? Мы тебе вернем одну овцу, одну телку, новая Советская власть добрая». Вот так ваш батька стал председателем колхоза. Он не хотел, его заставили, потому что уже вас было шестеро. Они могли нас сослать, и вы бы все погибли там. От любви к вам. А свидетельство за лучший урожай в тридцать седьмом-восьмом годах на ВДНХ за № 98795 — как участник Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки и занесен в Почетную книгу в Москве в 1939 году кто получил? Отец ваш!

Честнее его никто не работал. А пшеницу кто развозил по дворам для всех? Такого урожая не было в Кутузовке более. Никогда! Некуда было девать зерно, завалили им все сараюшки, все дворы, все чердаки. Да, было время!

Все старшие братья принялись вспоминать отца.

— Вот в сороковом,— продолжил Николай,— папа сказал мне и Ленке, что, мол, будете приносить воду для питья из колодца дедушки Петра. А мы поленились. Приходит в двенадцать ночи. Правление там было колхоза. Фросенька, говорит, дай водицы испить. Мама дает воду из нашего колодца, а наша — соленая. Папа и говорит: буди Колю и Леню, пусть принесут воды попить, как договорились. Мама: ой, поздно, ой, волки, ночь и все такое. Нет, отец был очень справедлив, настолько, насколько был честный. Ты погляди, мам, на всех на нас, вот Вова — вылитый папа. А вот разрез глаза у всех у нас и цвет — твои глаза твои, даже у Вовы. Выходит, что на человеческий мир мы смотрим твоими глазами.— Все сидевшие за столом посмотрели друг на друга, ощущая между собою полное сродство.

* * *

Я и не заметил, как быстро пролетело лето, наступила осень, а вскоре выпал первый снежок, а в школе мы учили стихи Пушкина о зиме: «Пришла зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...» Я сижу дома, гляжу в окно, падает снежок, вон по первопутку мчит Ваня Безродный, лучший друг моего брата Ивана, самый честный человек на свете, как говорил брат. А наши соседи Леонтьевы уж всюю катаются с горок. Мама принялась вязать рукавицы, носки — все для нас. Шурка часто уходил на охоту, ставил в лесу на тропках самодельные петли — на куропаток. В сарае чисто, уютно, вся животиная занята своим непосредственным делом — хрумкает сено. В этот день мама с утра накормила скотинку, помогал ей Шурка. А после присела подле окна вязать, выбирая то окно, из которого можно было одновременно наблюдать за двором, улицей, за нами, за животиной, за всем сельским миром. Я, вернувшийся из школы раньше всех, поел, приготовил уроки за пять минут, тяжело вздохнул, потому что делать больше было нечего. Собрался было отправиться на улицу, поиграть в снежки с Леонтьевыми (так мы звали соседей, которые имели фамилию — Ротарь), но тут, как на беду, мое внимание привлекла полочка в углу, сбоку от входной двери в горницу, где хранились охотничьи запасы пороха и дроби. Там было много интересного. Я тут же поставил под нее табуретку, встал на нее, мгновенно припоминая слова брата Андрея о том, что главное — ничего не бояться. Мама вязала, глядя в окно, склонившись вперед и положив ногу на ногу, было тихо и хорошо; сердце мое билось ровно, ритмично, как бился пульс Вселенной. Я протянул руки и подумал: «Как же так, стоит на полке черная бутылка из толстого стекла и ею никто не интересуется? А ну, как мы ее сейчас же...» — так часто поговаривал Шурка наш, берясь за какое-нибудь дело. Я решил проверить совета бывалого брата-фронтовика, нашарил тут же коробок со спичками, в мгновение чиркнул и опустил вспыхнувшую спичку в горлышко бутылки с порохом. Меня словно кто подначивал: мол, подожги порох, сделай так, как учил тебя старший брат. В начале так и было — задымил в бутылке, я некоторое время подождал, оглянувшись на маму, которая сосредоточенно вязала, разглядывая петли. Когда из горлышка потянулся дымок, я вновь вспомнил советы брата-фронтовика о том, что все, что ни будет гореть, надо только прикрыть чем-нибудь — и тут же прикрыл горлышко ладошкой. В тот же миг грохнуло с такой силой, с огнем и дымом, что меня со страшной силой бросило об пол, а окно, возле которого сидела мама, вылетело с треском на улицу, на мне вмиг вспыхнула пламенем одежда, волосы, обгорели руки, в грудь и лицо впились сотни мелких осколков бутылочного стекла. Я страшно испугался. Закричал от боли и ужаса нечеловеческим голосом: «Мама! Мамочка!», подсознательно понимая, что меня

спасти от смерти может лишь один человек на земном шаре — моя мама. Я бросился спасаться на улицу. В мозгу молнией, как свет падающей звезды, мелькнула, утопая в боли от случившегося, мыслишка, что в только что выпавшем, еще пушистом, перво-зданно белом снегу, если в него закопаться, все случившееся пройдет — боль, слепота, ожоги. Мама меня догнала в полутемном коридорчике, пристроенном для сохранения тепла в доме зимой. В коридорчике стоял большой эмалированный дореволюционный чан с холодной водой. Вот в этот чан мама и окунула меня, объятую пламенем, ничего не видящего и не слышащего, жалобно поскуливающего, с головой, затем принесла в дом на руках, водрузила на стол, внимательно осмотрела и опустила в запечье. Положение мое оказалось настолько безнадежным и чудовищным, что через некоторое время появившийся наш фельдшер Переверзев, покачав сокрушенно в недоумении своей маленькой головкой, тяжело изрек, что необходимо немедленно и сейчас же срочно везти в районный центр Шербакуль, который находился от нашего села километров за двадцать. Я ничего не желал и не хотел, ничего не помнил, только дрожал, стуча зубами от боли и холода, дикого озноба и мысли, что случилось то — хуже не бывает. Я еще до конца не осознал случившееся, как щенок, лишь повизгивал, пытаюсь инстинктивно заглушить боль. У меня полностью обгорело лицо, черные обугленные руки я держал перед собою, боясь ими дотронуться до чего-нибудь, ибо их тут же пронзала чудовищная боль; множество стеклянных осколков впились мне в грудь, лицо и руки. Невозможно рассказывать об этом, ибо в тот момент я себе не принадлежал, боль покорила меня всего.

— Если его везти в больницу за двадцать километров, умрет на холоде, — проговорила фельдшеру мама и закусила нижнюю губу. — Нет. Может, вы чем-то можете?

— То, что я предлагаю — единственно правильное решение, другого нет и быть не может. Пока обвяжите марлей, тряпкой, бинтами, чтобы сукровицу впитывало — это обгоревшие части тела, — наставительно произнес Переверзев ржавым от постоянного употребления медицинского спирта голосом и укоризненно отправился вон.

Я был так ужасен и страшен, находясь в забытьи, что вернувшаяся из школы сестра Надя с опаской посмотрела на меня в большое зеркало, которое висело таким образом на стене, что, поглядев в него, можно было видеть, что делается в запечье. Увидев мое черное обгоревшее лицо, она испугалась, вскрикнув, и спряталась в соседней комнате: она была уверена, что я уже умер и нахожусь на том свете.

Мама тут же принялась за задуманное, потеряв надежду на фельдшера. Она не доверяла больницам, предполагая, что за чужими людьми и ходить будут, как за чужими. Она верила только в свои силы. В больницу мама решила меня не везти. Тут же не откладывая, прирезала самого жирного гуся Василия, растопила гусиный жир и этим же вечером принялась нежнейшим гусиным перышком смазывать растопленным жиром лицо, руки, грудь, то есть обгоревшие части тела. День за днем мама сидела напротив и потихоньку дула мне на лицо, унимая тем самым боль. Она никому не доверяла такое серьезное дело, зная, что никто не верил в мое выздоровление, что я выживу, кроме нее. Только ее вера в себя, в справедливость, которая несмотря ни на что, все же существует, там, в небесах, где должны услышать слова правды и справедливости: ребенок ни в чем не виноват! Она убеждала меня, себя и всех в том, что бывает ведь и похуже в жизни. Мама рассказывала мне, что в свое время, когда была маленькой, тоже обварила кипятком свои руки и ее мама, моя бабушка, вылечила ее вот так же гусиным салом. Убедив меня, что больно не будет, она пинцетом вытаскивала из моего тела осколки и, не обратив внимание на кощунственные слова фельдшера, что пацан, мол, все равно на девяносто девять процентов не выживет, принялась поднимать меня на ноги. Ею руководила судьба, если хотите интуиция, если быть точным. Мама верила, надеялась, стремилась; ею правили планетные силы добра и света, неподвластное уму таинство любви к своему мужу, если хотите. Она

не спала ночами, отбросив все бинты, смазывала ожоги каждые два часа круглые сутки. Но ведь она вела немалую нашу семью еще ко всему; в печи постоянно теплился огонь, подогревающий гусиный жир. И через десять дней я открыл глаза. И первое кого увидел — мама! Моя мамочка! Она сидела рядышком с задумчиво склоненным надо мною лицом. И столько в ее лице обозначилось полной и пронзительной веры в мою жизнь, в мое выздоровление, в то, что я именно обязательно поднимусь на ноги, одним словом воскресну вопреки всем предсказаниям — и я это почувствовал так сильно, что слезы сами собой полились из моих глаз. То были слезы верующего в победу жизни над смертью. Мама была единственным человеком, которая верила в мое выздоровление и — победила ее вера.

Через три недели появившийся просто ради любопытства старый, много повидавший фельдшер Переверзев (что-то не слышать о похоронах заживо сгоревшего мальчика!) и никак не могущий дожидаться этих самых похорон, которые подтвердили бы его самонадеянные и точные выводы, увидев меня сидевшим за столом с абсолютно бело-молочным чистым и без единой царапинки личиком новорожденного, не поверил самому себе, что я и есть тот самый пацан, который по всем его точным предсказаниям имел права и должен был отправиться на тот свет.

Я радовался вновь обретенной жизни, которая оказалась еще лучше и интереснее, нежели до несчастного случая. Нет, судьба благоволила ко мне; ее ведь не обманешь и — нет худа без добра. Как я полюбил вместе с мамой заниматься нашим хозяйством, оказывается, и в кормлении гусей, кур и теленка много прелестей, о которых дети и не догадываются до особого случая, как вот со мной. Я заново смотрел на моих знакомых ягнят, поросят, которых я любил, ну как своих братьев меньших, как несмышленьшей. Как я полюбил, как запомнился мне зимой запах сена, запах навоза, запах самой жизни в сарае! А в школу, нашу милую школу, ходить после столь длительного перерыва — одно удовольствие, потому что меня, как мальчика, заново родившегося и вернувшегося с того света, рассматривали внимательно все, словно пытаюсь понять, а на самом ли деле я живой, тот самый, прежний, тот самый Вова. Даже учителя внимательнее обычного глядели на меня, на мою чистую, белую, как неснятое молочко, мордашку, без единой царапинки, без единого уродливого пятнышка от ожога. Мои недавние несчастья приносили мне известность, внимание и даже благосклонность учителей, потому что я стал получать за ответ на вопрос, за который раньше мог рассчитывать в своем ответе в лучшем случае — четыре, сейчас стал получать без натяжки — пять. Красавица-отличница Зинка Брябина смотрела на меня удивленно и с нежностью. Я сам себе стал больше нравиться — выросли длинные ресницы, чему очень завидовала наша красавица Надюша, брови отросли и лицо словно поумнело и стало взрослым. Это самое главное. Как я радовался всему: мир для меня стал лучше, изумительнее, красивее. Мне в душе казалось, что своей трагической болезнью я поверг в прах всех своих врагов — так было сладостно. Размышляя о жизни, я пришел к потрясающей мысли — что пока на земле живет и здравствует моя мама, а она на радость людям в мире должна жить вечно, то в мире и во Вселенной все будет распрекрасно.

* * *

—Так, Вова, и жизнь можно потерять,— сказала как-то назидательно мне учительница Мария Федосеевна, не развивая свои мысли и глядя строго, и ласково на меня.

— Главное — чтоб честь не потерять,— ответил я ей словами мамы, ничуть не задумываясь над сказанным.— А уж все остальное как-нибудь обойдется, Марья Федосеевна. Без всего жить можно, а вот без чести невозможно. Ни сегодня, ни завтра, ни через сто лет.

Нельзя согласиться с утверждением, что жизнь — это наваждение, потому что наваждение предполагает нечто ирреальное. У нас же все реальное, осязаемое — дом под железной крышей, тополь перед домом выглядывает на нашу длинную сельскую улицу, в скворечнике живут скворцы, в сараюшках — живность, а за домом — смородиновые кусты, яблоньки. Какое уж там наваждение? Разве что наоборот. Разве то, что вокруг и то, что стало, не имеет своего отношения к жизни? Жизнь — что вокруг нас. А все вокруг — это прежде всего наш дом, который стал не просто моей колыбелью в этом мире людском, в моей Вселенной, но это еще и дом, в котором не только я родился, но еще и дом, где мама спасла мне жизнь — здесь мои братья, сестры, средоточие моих печалей и радостей. Но жизнь все расставляет по свои местам, как человек расставляет фишки на доске. В каких-то местах в жизни звучит музыка в сильных регистрах, а в каких-то ниспадает, снисходя на нет, а то и совсем пропадает. Так и жизнь наша: порою звучит в торжественных и мощных аккордах, но наступает время и волна ее, как вода в источнике, иссыкает. Разве можно было предположить, ведь ничто то не предвещало, что мой старший братишка, богатырь, такой крупный в кости, могучий в свои пятнадцать лет и основательный, вдруг занеможет от голода. В последние годы после смерти отца наше житие — бытие со смертью, несмотря на временные взлеты, основательно изменилось. Время торопилось, унося с собою и хорошее и плохое. И мы оскудели довольно быстро, так как старшие братья разъехались. Андрей сказал, что по самое горло сыт своим крепостным положением, и вместе с женой Раей и народившимся сыночком Толей уехал работать в город Зыряновск, что в казахстанских горах, прихватив с собой обрадованного этому Шурика, а Николай отправился дослуживать и собирался после службы к Андрею. Правда, он демобилизовался и уехал на казахстанский урановый рудник Курдай. Старшая сестра Мария вышла замуж и уехала жить к мужу в соседнюю деревню Ком-Бие. Приемная дочь наших родителей Мария поступила учиться в ФЗО в Омск, который находился от Кутузовки ровно за сто двадцать километров. Оттуда она писала отчаянно радостные письма, приглашая последовать ее примеру нашу Надюшу. Надя несколько раз о том заводила разговор, но мама ее не отпускала. Все бы ничего, но в одну из весен в нашем доме появился самый настоящий, как определила мама, Дьявол с большой буквы,— уполномоченный вместе с понятиями (черти!) и участковым милиционером из райцентра Шербакуль, целый день они описывали наше имущество «за недоимки», пили чай, подсчитывали кур и цыплят, голубей и голубят, яблони и кусты смородины и в конце концов под вечер, так как братья за недоимки было практически нечего, забрали с собой нашу коровушку Марусю, ту самую, которую из чрева Маруси вынул теленочком еще молочным братишка Шурка. Мы с мамой ревели в рев, но Дьявол и черти были неумолимы, проводя с нами одновременно политинформацию о том, что налогом надо кормить Москву, большие города, укреплять обороноспособность против зверских американских империалистов, желавших развязать новую мировую войну и в результате, выходяло по его речам, что наша семья подрывает силу нашего могучего и непобедимого Советского Союза, а за подобное полагается ссылка, ибо на такое способны только и исключительно враги народа. Дьявол говорил, а черти молча поддакивали, кивая головами своими пустыми. Мы с мамой ничего не понимали, плакали, ревели за печкой Надюша, пытался сопротивляться этому произволу и грабежу Ваня, но его грубо оттолкнули от коровки так, что он упал и сильно ударился грудью. Но потом поднялся и сопровождаемый Витей долго бежал вслед за Дьяволом и чертями, которые уводили коровушку нашу Марусю. Ваня подбежал к милиционеру и закричал страшным, истеричным голосом, который был слышен на другом конце села:

— На, возьми лучше меня! Нам же есть больше нечего, мы все умрем! Возьми вместо нее лучше меня!

— Ну, и умирай! Только умирать это дело личное каждого! Подыхай, а страну спасай! Понял!— вскричал злобным голосом своим милиционер и так оттолкнул брата, что тот упал и долго не мог встать.

Но чужое горе,— то часто бывает у наших русских людей, что своя радость. Так устроен наш человек. И я то понял с детства, и надо иметь сердце нашей мамы, чтобы чужое горе воспринимать — как свое собственное. Но подобное для обыкновенного человека невозможно, ибо он полагает, что если с другим случилось горе, то сие может означать, что ОНО обошло его стороной, не понимая, как говаривала мама, что чужое горе — мое горе прежде, ибо вернется к тебе удвоенным. Мама мыслит, чувствует, делает — все для ближнего. Так было сказано в запрещенной книге Библии, но тщательно хранимой мамой до конца своей жизни, запрещенную, но ни разу почему-то не конфискованную уполномоченными. Представляете себе нашу маму с ее душой после того, как нашу Марусю увел Дьявол с чертями, охраняемые милиционером? Весь день она сидела обреченно на пороге сарая, где до этого жила наша Маруся, выставив под длинной, сто раз стираной, юбкой свои исхудавшие коленки, обхватив их прозрачными, высохшими от непрерывной работы руками. Ее не покидали грустные мысли о происшедшем. В одночасье изменилась наша жизнь, которая вертелось вокруг коровушки Марусе, как планета Земля вертится вокруг солнца. Каждого человека, отправлявшегося в далекий и недоступный для нас Шербакуль, мы просили узнать что-нибудь о нашей Маруси, о том, чтобы вернули нам нашу кормилицу, ибо мы готовы жизнь нашу положить за нее. За ней, дававшей при хорошем уходе ведро молока, должен быть особый уход, ею стоило бы людям гордиться, стоило бы холить и лелеять, кормить лучшим со стола, как-то поступала, отдавая ей свою часть еды, мама.

Трудно было перенести случившееся горе, когда мы узнали от заведующего магазином Кравецкого о том, что коровушку Марусю, нашу славную кормилицу, извлеченную из чрева погибшей в кладбищенской канаве ее родительнице Маруси, забили жестоко на скотобойне на мясо, а мясо отправили продавать в магазины райпищеторга. То было ужасное и безжалостное сообщение. Мы оплакивали горе всей семьей, но были бессильны. Мама ночью при зажженной свече сидела у стола и безумно шептала какие-то слова — как после получения похоронки на гибель сына Алексея. Я грозился сквозь плач добраться до Шербакуля и разнести его в клочья, убить уполномоченного и прочее. Через какое-то время страсть ненависти спала, и на трезвую голову мы убедились, пораскинув умишком, что нам грозит — голод. Ни меньше и ни больше. Несколько оставшихся кур и уток — оставленных на развод, были съедены довольно быстро, голодное весеннее пространство мы не одолеем. У нас осталось три курицы, затем один петух, который тоже вскоре попал под нож. Жизнь наша после коровушки Маруси переменялась основательно, маме приходилось экономить даже на гнилой картошке, чтобы хоть кое-что оставить на семена.

Вы не знаете, как плохо жить без отца и без старших братьев? Ведь и уполномоченные с понятыми и участковым на реквизицию скота чаще всего приходят в семьи, в которых одни женщины и малолетние дети. Сила боится силы. Они боятся сильных мужских рук. Мы росли в голоде, но гордые. Тем не менее в нашей жизни после периода с коровушкой Марусей наметился новый период. Мы отправились в путь по жизни по иной тропке, на которой уже не встречали нашу кормилицу, которая держала всю нашу семью в пределах главной нашей крепости — нашего дома. Иногда приезжала из Омска приемная Мария и привозила нам халвы, которую мы очень любили, одаривала печеньем, карамелью, а Надю то одним фартуком, то другим. И становилось веселее на душе. Приемная Мария, как мы ее звали, потому что у нас кругом одним Марии и Маруси, так вот она рассказывала о счастливой городской замечательной жизни, наполненной концертами, встречами со студентами, с передовика-

ми производства. Но каждый раз перед отъездом обратно в Омск, она заливалась слезами, обнимая и целуя маму и Надю, говорила сквозь слезы, называя их родненькими, ради которых она жизнь свою готова отдать. Мама потом говаривала: «Говорили, что, мол, знать, вреднющая, добра не будет помнить, а гляди, добрее не бывает. Как она, родимочка, скучает по нам-то, не забывает. Даром, что не наша. Помню, когда мне было пять лет, мы жили в городе Николаеве, так там были погромы. Прибежал, помню, к нам хозяин магазинчика. Абрамчик: «Спасите! Убьют! Век не забуду!» Дед ваш Петр Захарович Стоянов, который дал имя Кутузовке — по месту, где громил турок полководец Кутузов, прятал. Спрятали мы Абрамчика, не выдали. Пожалели. Да, всю жизнь мы их спасали, а вот они нашего бедного царя Николая Второго не пожалели, убили. Вот вся наша жизнь. Но от этого только им хуже будет. Люди-то ни при чем. Жалеть надо. Главное, что в жизни: жалость. Не жалость бы, так людей уж не было б».

В середине мая мы уже ели только голую лебеду, ну и опилками пробавлялись. Да брат Николай присылал из армии из города Чкалова свои «сержантские денежки». В такие праздничные дни к нам возвращалась уверенность во все хорошее, прибывала сила. На сытый желудок верилось, как говаривал учитель истории, верилось, что мы люди для будущего. Именно — люди для будущего, то есть, мы — это почва, на которой взрастут будущие поколения людей, неизвестных, правда, нам. Что это будет за племя младое и нам незнакомое? Никто не знал. Но ох! как не хотелось быть почвой или навозом для кого-то. Но голодали не только мы, через наше село в пятидесятих годах шли непрерывной вереницей, текли чередой голодные, сырые и убогие — это только материал, видимо, почва для будущих поколений. Страна отбирала у наших людей не только их скот за недоимки, но отнимала и право на жизнь, ибо ей надо было кормить огромные города — Москву, Ленинград, Киев. Огромные города, словно хищники, пожирала наши осиротевшие сибирские села, как какие-нибудь динозавры заглатывали свои жертвы, то есть не пережевывая. И что там наша Кутузовка? Песчинка. Ну, вымрет она, и что изменится в яростной борьбе за власть одних прожорливых над другими, не менее прожорливыми? Незаметная смерть, не больше. Погибали же целые галактики, Вселенные, выстраданные сотнями тысяч лет целые космические системы, на которых, возможно, проживали миллиарды и миллиарды живых существ, выстраивались цивилизации. Вождь всех времен и народов казался из наших глубинок сильнее всех и умнее всех. Он ориентировался на самые высокие горные вершины. И что ему деревья или кустарники на склонах гор?

Теперь в нашем доме самым взрослым являлся Иван, наш Ваня, он был старше меня на два года. Он так старался в это голодное время жить для всех, что его сильное пятнадцатилетнее сердце дало сбой, не выдержало. Он ослаб, стараясь последние кусочки отдавать братьям поменьше. Осенью пятьдесят первого года мы собрали совсем небольшой урожай картофеля на огороде, на что мама взирала с тоской и горечью, понимая, что это такое перед грядущей зимой, урожая могло не хватить до конца зимы. Ваня старался, как мог, но голодный желудок в самое, казалось бы хлебное время года — плохое подспорье для здоровья. Он однажды пожаловался маме, то было в декабре, что у него так сильно и часто бьется сердце, что он просто ночью задыхается. И мама, испугавшись худшего и рассудив здраво, вопреки своему инстинкту никому не доверять, кроме как своему наитию, решила, что в больнице Ване будет лучше — кормят бесплатно, тепло и спокойно. Она еще в тот раз приняла не окончательное решение, но как нарочно подвернулась попутка до Шербакуля и прямо до больницы могла довести. Махнув рукой на внутреннее сопротивление души, она отвезла сына в Шербакуль. Надя, которая каждую неделю ездила к Ване в больницу навестить брата, и куда нас с Витей не отпускала мама, однажды рассказывала со слезами на глазах, что у Вани нашли дистрофию от постоянного и систематиче-

ского недоедания, а лечить стали от сердца, чтобы опробовать на его сердце новое лекарство «пеницилин», который так необходим многим миллионов больных людей нашей страны. Она маме шептала, что Ваня жалуется, что после приема лекарства у него так сильно-сильно бьется сердце, прямо как на ниточке висит и каждую минуту эта ниточка может оборваться. Он боялся умереть, Но наш Ваня напрасно боялся умереть: он умер. В то время стояла ядреная морозная январская погода, когда оборвалась та самая ниточка, на которой висело его бедное сердце. Смерть его в тот день мы скрыли от мамы. Мама узнала о смерти, когда нам с Надей утром надо было ехать в райцентр за умершим Ваней. На санях мы привезли из больницы тело его, закутанное в тулуп, чтобы не замерзнуть, никто не мог из нас понять, что мертвецу не холодно, домой по зимнику в дикую стужу. Он лежал после обмывания и маминых причитаний розовый лицом, с красными оттаявшими губами, с красивыми подстриженными волосами (мама остригла перед тем как увезти в больницу), густоволосый, красивый, молодой человек, никого уже не упрекавший за выпавшую на него недобрую долю. От частого приема пеницилина его пригорюнившееся лицо лежало белое со слегка зардевшимися щечками и с укором смотрело на мир человеческий. Смерть словно украсила лицо, рельефно подчеркивая выгоду уходить из этого мира в иной. После смерти он поправился как бы даже. Ему теперь не надо думать о картошке, о хлебе, о мясе, обо всем остальном. Но я не мог представить себе о том, как же он даже на том свете будет безучастен к моей или к Витиной судьбе, такого просто не могло быть. Все село пришло провожать его в последний путь и нас, конечно, пожалеть. Со слезами на глазах стоял у гроба его лучший друг Иван Безродный. И утешало мою детскую душу мысль о том, что его хоронят — как полководца, который мужественно до конца бился за победу жизни над смертью. И если учесть, что мама, я и Витя, а так же Надя остались жить, то можно признать, что он победил. Правда, ценою собственной смерти. Умер он в день смерти Ленина, которого ненавидела всей своей душой наша мама, но которого все, как один, беззаветно любили учителя школы. Некоторые, подозреваю, лукавили. Они поступали — как должны были поступать учителя. Удивляло только одно обстоятельство: разве всемогущий и справедливый Бог, которому я даже ставил в заслугу собственное выздоровление, разве он не видел, что умирает ни в чем неповинный подросток, кормилец, у которого еще впереди столько жизни? Ваню нельзя было забирать на тот свет, потому что он нужнее и лучше меня, но вот так случилось, что я выкарабкался с того света, а Ваня отправился туда. По чьей воле?

Мама замкнулась от горя и перестала разговаривать. Стоит, глядит в пол и никого не видит. Молчит. Она жила своей внутренней жизнью, прослеживала, как я думаю, собственные главные моральные ценности в этом несправедливом мире людей, в котором ценится все, что против Бога — убийство, воровство, предательство, обман. Но она никого не убила, никого не обворовала, не обманула и не предала, И детей подобному не учила, не нарушала нравственные и моральные христианские ценности и детей учила только богоугодному делу. Но что ж получается? Ее сына Алексея убили на войне в девятнадцать лет, младшего Ваню убили в больнице, проверяя на нем лекарства, забрали со двора кормилицу-коровку Марусю, муж вернулся с фронта без ноги? Но власть не посмотрела на то, что почти вся семья защищала страну, то есть, прежде всего их красивую жизнь, власть предержавших. И что ж получается, они защитили их себе на погибель? Они требуют все новых и новых жертв? Что же еще может быть хуже?

Прошло несколько десятилетий, за это время разрушились в космосе целые миры и исчезли вместе с населявшими их существами, возможно, тоже гордыми, независимыми и умными, стойкими и сильными и не верующими от своей непревзойденной гордости ни во что. Я понимаю, в Кутузовке другие существа, то есть, люди, они,

хотя и гордые, но зависимые, и мы за это время остались как бы теми же самыми, что и были раньше. Но я отлично понимаю, что хотя оболочка у нас та же, что и раньше, все же мы теперь — как с другой планеты. Мы, русские, немцы, молдаване, украинцы, одним словом Кутузовчане, и были инопланетянами на своей родной земле. И вот в настоящее время, когда многие из нас, тяжело вздыхая, вспоминают, что их любимейший вождь, вождь всех времен и народов, отец родной, товарищ Сталин — и спал на стареньком диванчике, не снимая с себя полувоенной униформы, поставив у изголовья свои старенькие, «времен отечественной войны» и изрядно поношенные, истрепавшиеся сапоги, укрывшись чуть ли не рваной, задрипанной шинелькой времен гражданской войны, продрав плохо видавшие глаза, покряхтывая от боли в суставах и усталости от старости, устремлялся в Кремль, чтобы управлять огромной, нет, гигантской империей, в том числе и Кутузовкой (Кутузовка начинается с «К» и Кремль начинается с «К»), так вот в такие минуты мне в голову приходят несколько иного порядка мысли, которые отнюдь не восхищают меня самого, а кажутся вполне нормальными. А что если бы наш великий вождь и, что хорошо, — не гребущий под себя, что очень важно сейчас, так вот, что если бы наш вождь все-таки умывался по утрам, чистил зубы обыкновенной зубной пастой, предположим «фтородентом», подстригал усы, спал в нормальной спальне, укрывшись не солдатской шинелью, а одеялом с пододеяльником, а волосы и причесывал — тоже каждый день, и с радостью ожидал по утрам детского лепета своих детишек или внуков? Что ж он жил, как в походе, как на фронте, как в чужой стране, ожидая с минуты на минуту нападения врагов? А возможно, он действительно жил в чужой стране? Которую не любил? А если бы наш вождь, предположим, занимался спортом, теми же, например, горными лыжами или коллекционировал монеты, или просто увлекался бегом трусцой? Вполне вероятно, что тогда при таком естественном для нормального человека положении бытия и наша жизнь организовалась бы тоже в естественное свое состояние — не убивали бы, не уводили бы со двора кормилицу Марусю, и дали бы детям выжить, ведь дети, как ни крути, — будущее страны? Что и говорить, надо признать, что мы не умеем управлять собою, и только при естественном ходе истории, при эволюционном развитии мы способны устроить свою жизнь. Я ведь вспоминаю все это спустя более полувека со слезами на глазах. И не забыть такое никогда ведь!

Когда умер вождь, последний наш вождь, не плакала в селе одна наша мама, с суровостью проговорив грустные слова о том: «А что он сделал для моих детей? Заслонял ими себя?» Действительно, как то ни прискорбно, но лучше бы все-таки вождь имел особенность умываться каждое утро, чтобы от него не несло замшелостью и прелостью грязного старческого обреченного на смерть тела, не пахло изо рта прокисшим грузинским вином, выпитом накануне вечером. Но отец народов определял будущее. Вождь мало спал и торопился, ибо он выверял азимут для всей огромной до ужаса страны, в которой жили и умные ведь люди, как то положено всегда в мире. А так как в русской истории народ больше доверял чаще чужим, пришлым людям, нежели своим, то только так и мог появиться вождь, который не знал, что за тридцать шесть лет, управляя гигантской, преимущественно русскоязычной, страной, он до самой смерти произносил слова с сильным грузинским акцентом. Но зато он определял образ будущего именно русского человека. Как бы то ни было, но после смерти Вани мама начала собираться в путь, желая покинуть село Кутузовку, в котором нашла свое счастье, и где она его потеряла. Она родила в Кутузовке десять детей — семь сыновей и три дочери, всех выкормила и вынянчила, здоровых, нормальных, красивых. От прошлого остались одни воспоминания, которые хотя и скрашивают жизнь, наполняя порою душу чем-то приятным, но, как известно, самой реальностью не являются. Они — прошлое. А в прошлом — смерть, смерть, смерть. Сын, отец, сын! Кто следующий для отправки на тот свет? Кто у переправы? Кого выберет

Дьявол? Я помню, как приехавший на побывку из армии брат Николай, однажды взял с собой меня на охоту, обучая хитроумному ремеслу. И когда из-под ног взлетела стая куропаток, он быстро спросил: «Вовка, в какую стрельнуть? В какую скажешь, ту и подобью!» Я машинально показал пальцем на птицу, которая поднялась выше остальных, и куропатка через мгновение, сраженная метким выстрелом, рухнула в подлесок. Разве могла самая быстрая и самая сильная куропатка догадаться, что ее именно застрелят? Такими же меткими выстрелами судьба поражала нашу семью — семейное здание, так крепко и, казалось, навсегда сколоченное, выстроенное из прочнейшего материала архитектором папой, которым была любовь, с помощью мамы, разумеется, которые оба вели одну и ту же мелодию — жить для детей. Папа ради детей отказался от отъезда за границу, чтобы уехать в Америку с братом и товарищами. Все это ради одного — детей, в которых он находил смысл своего существования. Мама, боясь репрессий, не за себя боясь, за детей, открыла тайну незадолго до своей кончины, скрывая от детей происхождение отца, его родословную. Я понимал, что вождь всех народом и его команда строили планы, которые не совпадали с планами отца. У них были разные способы достижения своих целей — отец своей цели добивался сам, а вождь и его команда добивались цели за счет жизни отца. Вот и вся разница.

* * *

Какие звуки рождаются в сознании маленького человека, которому на ночь глядя, приходилось, как нам с Витей, отправляться в соседний березовый колхоз за хворостом, чтобы натопить печь в доме? Рубить лес, среди которого мы жили, было запрещено под страхом уголовного преследования. А почему нельзя было, то знал только вождь, который о существовании этих сибирских колхозов ведать не ведал. Но, выходит, что за четыре тысячи километров он знал, как нам должно жить, как должно перезимовать. Кроме березового хвороста, мы, дети, ничего и не могли привезти по снежному насту, ибо мама тем временем зарабатывала свои пустые трудодни в колхозном коровнике. Но хворост нельзя было днем привозить, лишь ночью, затемно, когда местное начальство закрывало на все глаза. Все село этим пользовалось. Мне запомнился истощенный ночной вой волков, выворачивающий наши трепещущие от страха детские душонки. Особенно страшен вой волков в зимнюю стужу и при ясной луне, при сорокаградусном морозе. На всю оставшуюся жизнь моя душа боится этих ночей. Эта боязнь воя волков осталась со мною навсегда. Чем тоньше воет волк, тем опаснее он.

* * *

Особенно запомнившийся мне морозный день был отмечен важным событием — смертью вождя. В школе по случаю такого печального события отменили уроки, как впрочем, сама собой отменялась и работа в колхозе. И поэтому с обеда из коровника доносился жалобное мычание коров — хор мычащий всюю голодных коров тоже до сих пор стоит в ушах у меня. Мужики и бабы, детишки и собаки воспользовались печальным событием. Женщины плакали, некоторые рыдали, а мужики курили и по этому поводу отпускали шуточки в том смысле, что, мол, бабы и коровы режут одинаково, только жалобнее все-таки получается у коровушек, так как они от голода, то есть искреннее, а бабы — нарочито. Но все понимали, что о подобном могли и «стукнуть», куда следует. В год смерти вождя мы покинули нашу родную Кутузовку навсегда. С болью в душе прощались с дорогими могилками отца и Вани, на которые впоследствии приезжали неоднократно. Пройдет еще несколько десятков лет, и я приеду на родные наши могилки, поросшие травой, кустарником, с металлическим

крестом, увенчанным пятиконечной звездой, на чем настоял председатель сельсовета, ибо отец был первым на селе председателем колхоза. В свой предпоследний приезд я заказал в Омске надгробие — одно на двоих, которое и установил на могилки. Предварительно соорудив сам лично из двух могилочек одну, ибо отец и сын должны лежать в одной могиле. Праздновало село в день моего прибытия Троицу, как правило, как было заведено издавна, все жители приходили посидеть на могилках и пообщаться с душами умерших родных, так принято у православных, но большинство с водочкой и закуской. Я пристроился в одиночестве у оградки нашей могилки и думал свою грустную думу о жизни и смерти, о своей жизни.

Ко мне неожиданно и запросто, как к своему знакомому, подошел немолодой, но статный мужчина и сказал, спросив перед тем, а не сын ли я Никонора Алексеевича Мирзы, который спас жизнь его родного отца. Он рассказал рядовую и простую для тех далеких лет историю о том, что когда Никонор Алексеевич председательствовал на селе колхозом «Омгоркомол», то его отец родной в то время как раз строил новый дом, возвел стропила, осталось покрыть крышу дранкой, а затем толем или щепой. Было уж затемно, когда к строящемуся дому подошел Никонор Алексеевич и сказал тихим голосом: «Харлампий, вот что, не достраивай дом. Как только возведешь над венцами крышу, тебя тут же арестуют, как врага народа, статья пятьдесят восьмая. Этого ждут поганые людишки, желая вселиться в твой дом. Ты умный человек, пойми правильно. Запомни и ни о чем не спрашивай. Я тебе не говорил, я знаю, ты мужик — язык у тебя не помело». И скрылся в темноте. Мой отец, то бишь Харлампий, оставил строительство дома на многие годы, сославшись на болезнь. А сосед не послушался его праведных слов, возвел дом и загремел по пятьдесят восьмой статье на каторгу, для себя построил тюрьму, а для врага, выходит, дом. Таков был закон жизни нашей. Вот так Никонор Алексеевич сберег для меня моего отца, и я ему благодарен на всю жизнь, вот почему я, Федор Харлампиевич Штырбул, в долгу перед вашим отцом, перед его прахом, слежу за могилкой Никонора Алексеевича, вот елочку посадил, чтоб ему на том свете легче было».

* * *

С высоты третьего тысячелетия большие дела маленьких людей тоже кажутся незначительными, нестоящими, а зачастую и вовсе никудышными. А что говорить о чувствах их, о мыслях, переживаниях — с высоты полета современного лайнера деревни и села на нашей российской земле и вовсе не видны, и даже большие города кажутся с высоты всего лишь игрушечными квадратиками на теле необъятной нашей сибирской земли. Мой отец, как мог, сумел спасти жизнь семьи Харлампия Штырбула, но не смог спасти свою собственную. Когда я подробно рассказал о данном эпизоде моей матери, уже старенькой, совсем иссохшейся старушки, живущей у младшенького Виктора, работавшего секретарем обкома в Караганде, который и сам был уже немолодым человеком, она молча всплакнула, слезы сами собой тоненьким ручейком заструились из ее постоянно слезящихся глаз. Но сказала в ответ мама совсем о другом. О том, что мучило ее постоянно и не давало покоя:

— Я себя, сыночек, до сих пор не могу простить: зачем я Ваню-то отдала в больницу? Я б сама травами на ноги поставила. Умер, бедненький, еще ребеночком совсем. Одна радость — лежит рядом все ж с отцом. Я б счастлива была рядом лежать, очень он меня уважал. А после вас кто будет за могилками ходить? Отец все мне говорил, что все надо прощать людям. Людям — да, надо, а зверям как? Но зло прощать — горе сеять. Помнить — не прощать! Вон царь Николай-то Второй-то простил всех, как Христосик. А ведь его убили те, кому прощал. Зло прощать — горе сеять, не мною то сказано. И еще мне жаль не всю жизнь. Как Бог дал, так я и прожила. Лённо жалко — погиб ребеночек ни за что. Отоваривала: не ходи добровольно, войне

конец. Помню: уходил на фронт — плакал, обнимал и целовал каждую яблоньку в садике, каждого куренка целовал. Знал, знал, сыночек, что не вернуться ему оттуда, с войны-то.

— Да, мама,— поддакнул я, вспомнив, что на обелиске в селе Кутузовке, открытом в честь Победы в центре села, нашлось место всем погибшим, кроме... не поверите — как для юного паренька, моего братца Алексея, добровольно ушедшего на фронт в предпоследний год войны. Он ушел добровольно — на смерть. Я об этом матери не сказал, чтобы не расстраивать ее совсем.

Слабенький прерывающийся голосок матери рождает во мне, в моей душе — тот далекий звук нашей жизни в Кутузовском родовом доме; на тот звук, как на стержень, нанизываются картины, близкие мне и уже далекие, знакомые и незнакомые, которые стоило бы забыть, но забыть которые невозможно. И нет таких сил, могущих отвлечь сердце человеческое от памяти, ибо самое сильное из всех чувств у человека — это память. Память держит сердце человека в напряжении — сердце, и совесть. Держит память в напряжении и нервы, но зато светом совести освещает, как сильным прожектором, тот наш путь, по которому мы идем. Много стоило бы забыть из пережитого. Оно не стоит памяти. Забыть надо, но забыть невозможно. Как можно забыть, что я родился и вырос в Кутузовке, название которой дал мой дед Петр Захарович Стоянов, отец моей мамы, приехавший на перекладных по столыпинской аграрной реформе со своей семьей сюда в 1909 году, сто лет тому назад? Он дал название Кутузовке в честь тех мест, где полководец Кутузов отвоевывал у турок, громя их, исконные славянские земли — Кутузовское поле. Я издал свыше тридцати книг, мои книги (романы, повести, рассказы) переведены на большинство языков Европы и Азии, и ни в одном крупном моем произведении я не обошел Кутузовку. Я ее часто упоминал, потому что тут похоронен мой отец, брат, бабушка, потому что тут живут лучшие на земле люди. Мои близкие люди, и я имею права о них писать. И даже если я нахожусь в столице Москве, то душа моя обитает в Кутузовке. В Кутузовке! И каждый раз я слышу голос моей мамы. Мама, моя милая мама, я родился при твоём голосе... так как же я могу его забыть. Голос мамы — голос Кутузовки.



**Олег Каширин,
Виктор Харлашкин**
(г. Тула)



Каширин Олег Семенович



Харлашкин Виктор Георгиевич

ХМУРЫЕ ГОРЫ
(Главы из книги
«Операция «Версаль»»)

Каширин Олег Семенович родился в г. Туле в 1949 году. Автор романа «Последний рейс Дракона», повестей «Обреченная миссия», «На траверзе мыса Дооб». Повесть «КГБ как КГБ» отмечена дипломом конкурса ФСБ России 2007 г. на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности. Многократно печатался с рассказами в сборниках, литературных альманахах и периодической прессе. Состоит в Союзе писателей России с 1998 года.

Харлашкин Виктор Георгиевич. Родился в 1951 г. в Новосибирской области. Закончил исторический факультет и факультет иностранных языков Тульского госпединститута им. Л. Н. Толстого. С 1972 по 1995 г. находился на действительной военной службе, полковник запаса. Публиковался как поэт во многих периодических изданиях, включая международные журналы. Его стихи опубликованы в США, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Израиле. Автор четырех сборников стихов: «Лица и маски», «Мертвый и живой», «Русская натура», «В осажденной России». Известный бард, лауреат Всероссийских фестивалей и конкурсов военно-патриотической песни. Неоднократно выступал с концертами в «горячих» точках: Чечне, Абхазии, Приднестровье, Севастополе. Повесть «Операция «Версаль» — первый (в соавторстве с О. С. Кашириным) опыт автора в прозе.

Через два с лишним года Соколов наконец-то не без труда добился возвращения на свою малую Родину.

Конечно, у коллег, родных и приятелей была масса вопросов, которые сводились к одному — каков он, Северный Кавказ? На них Игорь вполне серьезно отвечал, что понять эти края можно только пожив там не один год.

Но на очередной профессиональной учебе с темой: «Предупреждение и пресечение массовых беспорядков» ему все-таки пришлось рассказать о службе в южных краях.

— О массовых беспорядках все мы знаем только по нашей закрытой литературе и приказам КГБ в шестидесятых годах, — начал он свой рассказ. — Но, одно — сухие строки, совершенно другое — жизнь. О событиях в Новочеркасске и Владимире сейчас уже мало кто знает и помнит.

У нас в республике помимо других проблем была проблема, оставшаяся еще с царских времен. Это дележ Пригородного района вокруг столицы города Орджоникидзе, бывшего Владикавказа. И порожденная этим вражда между соседями — осетинами и ингушами. Район окончательно присоединили к соседней республике после революции. В Осетии мало пахотных равнинных земель, вот и появился этот район, в который вошла и некоторая территория Ингушетии. В целом там жили вперемешку и осетины и ингуши. Конфликты на бытовой почве были всегда, но каких-либо круп-

ных происшествий не случалось. Напряженность в межнациональные отношения привнес уважаемый ингушский писатель Идрис Ганиев, известный своим романом «Сыновья». Сам он неплохо спокойно жил при достатке в Пригородном районе. Но давно был известен своими радикальными националистическими настроениями.

Комитет госбезопасности республики взял в разработку группу интеллигенции, духовно питавшейся от Ганиева. Сам он, как умнейший и хитрый «волк» — символ мужества и мудрости у ингушей — с группой не общался. Связь осуществлялась через посредников. Практически контрразведчики знали обо всех планах «Кунаков» — так называли дело оперативной разработки.

— Игорь Владимирович, извините, — перебил молодой оперативный работник, — я понимаю, что группа была не из двух человек. Как же справлялся с делом оперработник?

— Дело вел заместитель начальника отделения. О разработке знали только руководители отдела и Комитета. Никто в «конторе» об этом не догадывался. Даже в архивном подразделении при постановке дела на учет персональных данных на тех, кто входил в группировку «Кунаки», не знали. Оперативный состав выполнял отдельные поручения, не догадываясь, для чего они нужны. Каждый знал только то, что ему предназначалось.

По закону подлости перед решающими событиями вышла из строя оперативная техника. Всего на несколько часов, но этого заговорщикам хватило, чтобы обговорить все детали предстоящей вакханалии. А это Комитет не отфиксировал. К сожалению.

— Так вот, — Соколов сделал паузу и продолжил. — Январь, понедельник. Как всегда в этот день проводилась чекистская учеба. Значит, нужно прибыть к восьми утра. Понимаете, что опоздания исключались.

Я жил в центре города, на квартире уехавшего в Москву сотрудника. Тому два года предстояло учиться в Краснознаменном институте на разведчика. До нашего Комитета — десять минут пешком. Легкий морозец, редкий пушистый снежок... Настроение хорошее. В пятницу жена ходила на осмотр к врачу. Маша была на шестом месяце беременности. Слава богу, все нормально! Когда я подошел к площади Победы, маршрут проходил через нее, то увидел огромную толпу — папахи, фуражки-«аэродромы»... Большая группа молодых парней толпилась около центрального входа в республиканский областной комитет партии. Ничего не понимая, по телефону-автомату позвонил своему начальнику отделения и услышал категорический приказ прибыть в «контору».

Там узнал, что накануне, в воскресенье, на районном рынке в Назрани какой-то неустановленный тип призвал всех жителей в понедельник прибыть в республиканскую столицу, где на главной площади объявят о передаче Пригородного района ингушам. Вот и разгадка нахождения такого количества народа на площади. Вскоре сообщили, что в Назрани десять женщин сели на железнодорожные рельсы и перекрыли движение поездам, в том числе застрял пассажирский поезд «Москва-Баку». Там же прозвучали впервые требования отдать Пригородный район. Генерал собрал на совещание начальников отделов и других самостоятельных подразделений. О чем конкретно там шла речь — мне неизвестно. Но когда я вышел из кабинета в коридор, то попался на глаза генералу.

— Подь ко мне! — приказал Председатель Комитета. — Иди на площадь, постарайся как-то проникнуть в обком партии и передай моему заму Хромову вот эту записку. — Он протянул заклеенный почтовый конверт. Грустно улыбнулся и добавил, что при возникшей опасности съесть его не обязательно, будет заворот кишок, а просто порвать на мелкие кусочки. Он еще был в состоянии шутить, подумал я.

Когда я подошел к обкому, то увидел, что обстановка там накалилась. Молодые ингуши плотно прижали к входным дверям нескольких милиционеров, пытаясь про-

рваться в помещение. Несколько пожилых старейшин в дорогих папахах, обернутых от падающего снега в полиэтиленовых прозрачных мешках, посохами лупили своих земляков и что-то кричали. Было понятно, что они отгоняли ретивую молодежь от входа. Толпа отхлынула на несколько метров, но не разошлась. К этому времени около памятника соорудили помост, на который поставили микрофон с усилительной техникой. Первые выступающие призывали всех говорить по-русски, чтобы не было каких-либо подозрений, не призывать к насилию, главной темой должно быть требование отдать Пригородный район ингушам. Толпа постепенно стала собираться перед помостом.

Я обошел здание обкома и обнаружил, что с тыла у выездных ворот никого нет. Постучал. Предъявил заглянувшему в глазок милиционеру служебное удостоверение и спокойно прошел в помещение. Хромова я нашел на втором этаже. Он наблюдал за толпой через окно, а рядом снимал на киноленту незнакомый мне сотрудник. Явно из наших, поскольку к Николаю Ивановичу он обращался не иначе, как «товарищ полковник». Хромов распечатал конверт, внимательно ознакомился с его содержанием и после этого кивнул мне — возвращайся назад.

По приходу на работу на очередном совещании Соколов услышал новую вводную: повстречаться со всеми своими контактами с целью выяснения, не вынашиваются ли кем-либо намерения превратить пока мирный митинг на площади в экстремистскую акцию для дестабилизации обстановки в республике. Говоря проще предотвратить массовые беспорядки.

— А как же их предотвращать, Игорь Владимирович? — раздался снова вопрос.

— Если говорить об этом только в рамках нашей учебы, то мы не уложимся в рамки учебы. Как? Разъяснять через наши источники информации позицию государства в давнем межнациональном споре и преступность возможного негативного развития ситуации. Конечно, главное легло на плечи партийных и советских органов. Уже в первый день пытались проводить сельские сходы. Где это удалось, где нет. Женщин на железнодорожных путях в Назрани тоже уговорили не делать глупостей. Встречались в селах со старейшинами родов.

— Аксакалами? — Снова все тот же голос из зала.

— Да, аксакалами. Вы зря иронизируете.— Игорь посмотрел на офицеров.— Надо знать национальные обычаи этой республики. Мнение старейшины порой намного авторитетнее слов партийного функционера.

Нас всех предупредили, что неизвестные лица установили за Комитетом слежку. Пытаются сопровождать каждого, выходил из наших стен. Последнее развеселило присутствующих. Все предвкушали «поиграть в шпионов» за самодельными филерами. Но Хромов тут же оборвал раздавшиеся смешки и сказал, что ингуши по природе — конспираторы, и даже перед сватовством невесты устраивают за ней слежку, чтобы выяснить ее моральный облик. Кстати,— заметил Игорь,— я сам однажды такое заметил в трамвае. Смех и грех: ингуш так внимательно смотрел на девушку в головном вагоне из прицепного, что не заметил, как у него отклеилась половина усов. Прямо-таки — кадр из «Бриллиантовой руки» Гайдая.

Так, вот. Промотались мы до самой ночи. В городе полностью прекратили продажу спиртного, на улицах патрулировали усиленные наряды милиции. А основной предварительный вывод из собранной информации был такой: практически никто не поддерживал митингующих. Чеченцы прямо осуждали, опасаясь репрессий со стороны государства, как в 44-м году, когда всех чеченцев и ингушей 23 февраля одним махом выселили в Казахстан, и посмеивались над глупостью организаторов. Русские и другие опасались возможных погромов. Ингушская интеллигенция (журналисты, писатели, художники) высказывалась в разнобой — от экстремизма до осуждения. Картина складывалась довольно пестрая, но в целом не такая мрачная, как предполагали в начале событий.

Домой пришел поздно. Жена не спала. Ни о чем не расспрашивая, поставила на стол яичницу с колбасой и крепкий чай. Я перекусил и забылся без сновидений. Она сказала, даже похрапывал, хотя на меня это не очень похоже. Подъем в шесть утра. На площади догорали ночные костры — организаторы решились на круглосуточную акцию. Вечером подвозили еду и чай с кофе.

Большую группу сотрудников сразу же направили в Дом политпросвещения, где республиканское руководство встречалось с авторитетными старейшинами. О чем говорили, не знаю, стоял на входе. По возвращению в Комитет — новая вводная: документировать все выступления на площади.

Наш миништаб расположился рядом с площадью в двухэтажном послевоенной постройке Доме пионеров. Шесть человек должны были, сменяя друг друга, идти в митингующую толпу, записывая подряд все выступления активистов. Впрочем, мы были только носителями радиомикрофонов, запись шла в штабной комнате. «Технари» очередному оперу закрепляли под воротник технику и — вперед. Скажу вам, что поначалу ощущения были не героические. Сами представьте, протискиваешься сквозь плотно стоящую толпу под самый помост и стоишь там час. Бурно приветствовать очередного «оратора» руки не поднимались, а вокруг тебя — ингуши, в которых ни капли «кацапской» крови. Сомкнись плотнее группа людей, и останешься лежать придушенный на снегу, пока тебя не хватятся.

На «трибуне» и вокруг нее стояли молодые парни с красными повязками — дружинники. Озвучка велась через микрофон с усилением. И постоянно организатор призывал всех говорить только по-русски. Запомнился выступивший армейский прапорщик. Пошатываясь, явно «под шафе», он подошел к микрофону и, вцепившись в него, закричал: — «Братья-мусульмане!» — Толпа бурно его приветствовала. Но следующие слова вояки всех шокировали. — «Земли хотите? Есть земля! Едем все на Колыму, там всем хватит!» Его мгновенно подхватили под руки дружинники и вернули на твердую почву. Потом рассказывали, что его в тот же день уволили из армии без выходного пособия.

Пришел зампред Хромов, который устроил разнос нашему старшему группы за то, что мы ходили в толпу одни без страховки. Тут же сформировали «двойки» — один с техникой, второй за спиной страховал. Мороз крепчал, и последовала команда: смены сократить до сорока минут. Так дальше и пошла наша работа, длившаяся до самой темноты. Всех уже шатало. Потом, ребята рассказали, что один из жителей рассказывал своим знакомым: — «Кегебешники выходили на площадь зелеными, но все равно шли в толпу». Честно говоря, для нас это звучало высшей похвалой.

Не буду занимать ваше внимание рассказом о дальнейшей нашей оперативно рутине. Кто-то сказал, что из Ростова-на-Дону прибыла группа спецназа, и мы стали гадать, как теперь развернутся события. Около часа ночи нас сменила другая группа, и мы пошли к себе в «контору», благо, она находилась недалеко за рекой.

Я пристроился на своем полированном столе, подстелив шинель. Забылся в полусне и проснулся, когда в коридоре раздался топот и громкий разговор. Я машинально попытался встать и слетел по лакировке стола на пол.

Короче говоря, когда удалось уговорить основную массу прекратить митинговать и уехать на предоставленных автобусах по домам, оставшихся на площади 320 экстремистов ростовский спецназ погрузил на транспорт за семь минут. Их отправили на фильтрационный пункт. Нас всех распустили по домам, предоставив отдых до обеда. Через день прибыл на разбор случившегося Председатель Совета министров РСФСР В. Соломинцев, который провел расширенное совещание с руководителями всех окружающих нас республик. О чем шла речь, не знаю. Потом по нашу душу прибыла инспекционная группа из Центра. Я не знаю, какие мероприятия проводил наш Комитет, но инспекторы оценили все действия грамотными. В итоге штат «кон-

торы» был увеличен на двадцать процентов. Так-то! Может быть, все, что я рассказал, несколько эмоционально, но «Дежа вю!» — так было! Какие будут вопросы? — Соколов посмотрел на аудиторию.

— Игорь Владимирович, а в боевых операциях Вам приходилось участвовать? — спросил все тот же любознательный оперработник.

— Ну, а это — тема следующей учебы,— тактично ответил Соколов.

— Тогда и вернемся к вашему вопросу,— ответил Игорь.— Тогда и поговорим.

* * *

По правде говоря, боевая операция, в которой пришлось участвовать Игорю, вызвала у него противоречивые чувства. С одной стороны — настоящее дело, с другой — случайная ситуация, в которой он невольно оказался.

Год, когда Соколов приехал в республику, принес дурные события. Как потом стало известно всем в Комитете, 3 отделение Пятого отдела несколько лет вело розыскное дело под непосредственным руководством заместителя начальника отдела Виктора Ивановича Быкова. Самого опытного и знающего в деле розыска политбандитов времен прошедшей войны. Тридцать лет он занимался этим делом.

Ему пришлось выводить из послевоенного подполья — ходил безоружным к запутавшимся в собственных поступках людям, разяснял, убеждал или поначалу терпел поражение и снова шел к ним,— они до сих пор с небольшой опаской, но с почтением называли его «Бык». Офицеры отдела его уважали и откровенно побаивались. Его короткая фраза по телефону: «Зайдите ко мне», была неповторима и вызывала, по крайней мере, легкую тревогу.

Коля Воланов считался бо-ольшим специалистом по пародированию голоса Быкова. Как-то к вечеру он закончил служебную писанину и предложил «сокамерникам» по кабинету поразвлечься. Кабинет Виктора Ивановича находился в самом конце длинного коридора, по обе стороны которого находились Пятый отдел и следственное отделение. Кабинет жертвы Воланова был в самом его начале. Авторитетом у ребят он почему-то не пользовался. Почему — Соколов в детали не вдавался.

Николай набрал номер телефона этого опера и, как только тот ответил, коротко буркнул:

— Зайдите!

Сходство с голосом Быкова было поразительным. Через пару минут послышался торопливый топот каблуков, которые двигались к кабинету заместителя начальника отдела. Ребята вышли из кабинета, предвкушая встречу с коллегой, посетившем по их звонку Виктора Ивановича. Но когда дверь в дальнем конце коридора отворилась, они увидели не объекта розыгрыша, а самого Быкова, который посмотрел на них через традиционно съехавшие на конец носа очки.

— Я все понимаю, молодежь, но такие розыгрыши жестоки. А он,— Виктор Иванович кивнул вглубь кабинета,— как раз мне понадобился.— Плотно закрыл за собой дверь.

Хасуха Магомадов был сыном богатого по местным меркам владельца больших стад овец, табунов лошадей. Работники гнули перед ним спину. Он всегда следовал наставлениям отца, носил имя Аллаха в сердце. Когда же неверные совратили народ, оборванцы вместе с пришельцами разорили их семью, отобрали все скопленное богатство, отец исчез среди каменных стен города, а вернувшись, скоро умер, не смирившись с потерей былого достатка и могущества. Хасуха люто возненавидел нечестивцев, затаился, занимаясь охотой,— горы он знал наизусть. Ждал и дождался своего часа.

Он проявил себя тотчас, когда гитлеровцы подошли к Кавказу. Самым лютым был в банде Игаева, выходца из этих мест. Того выбросили с парашютом для сколачивания «повстанческих групп». По сути, бандитских групп. За потерянное богатство мстил Хасуха. Перебил десятки людей. Стрелял, пытал, сбрасывал в пропасти. Хуже

зверя! Зверем и зажил по пещерам-схронам, когда закончилась война. Не выжил бы, если не пособники. А что пособники? Затерроризровал людей так, что они своей тени боялись в солнечный день. Было отчего бояться — уже после войны погубил, мерзавец, уйму народа. То, что стрелял в партийных и советских работников, в военных и милиционеров, как-то объяснимо — в кровных врагов. Но почему в простых людей?

В прошлом году свой человек сообщил абсолютно достоверные данные о нахождении Хасухи. К указанному дому в высокогорном селе оперативная группа подошла затемно. Вроде бы расставились так, что уйти ему было невозможно. Чеченец, старший оперуполномоченный, под благовидным предлогом постучался в дом. Дверь открыл хозяин. Быков не знал, о чем они говорили, но через десять минут вся семья: хозяин, его жена и пятеро детей вышли из дома. «Гражданских вывели», — успокоился старший группы захвата. Как только хозяева зашли за коровник, из окна дома раздалась длинная автоматная очередь. У поленницы дров раздался короткий вскрик, поначалу никто не обратил внимания. Оперативники открыли ответный огонь. Один из офицеров сумел, подобравшись ползком к жилью, бросить в помещение гранату. Сколько прошло времени, потом никто не мог вспомнить. На крыльцо вышел пожилой чеченец с автоматом Калашникова в руках. Постоял и рухнул головой в снег. Кто-то закричал: — «Жору ранило!» И все бросились к Жоре — лежащему на мокрой земле начальнику Советского райотделения Салько. Именно он смог добраться до находящегося тридцать лет в розыске Хасухи. Но Салько был мертв. Как потом установили, во время перестрелки пуля срикошетила от поленницы дров и попала в шейную артерию. Снова нервный выкрик: — «А где Хасуха?!» На месте, где он только что лежал, никого не было. Скорее всего, раненый, прыгнул в глубоченный, как пропасть, глинистый овраг и ушел. На первоснежье остались кровавые следы.

Первый снег, выпавший в горах, подтаивал, следы расплылись. Потом и собаки не помогли. Хасуха исчез, как растворился. После этого Быков, подавленный, подавленный случившимся, был сам не в себе.

На закрытой коллегии Комитета был проведен тщательный анализ проваленной операции. Выявилось, что в состав группы захвата входили вроде бы опытные работники, не старики, но намного старше Соколова. Но, двое не служили на срочной службе в армии, третий вообще носил в линзах очков немислимый «минус». Иначе говоря, был предельно близорук. Был нелюбезный разговор. В том числе для опытейшего Быкова. Нашлись и другие просчеты. Все это привело к трагическому результату. И не так просто было пересматривать свой подход к розыску Хасухи.

Итоги разбирательства доложили в республиканский обком партии. На бюро обкома всем раздали «по полной». Что там наказания! Товарищ погиб в расцвете сил. Сорока лет не было. В последний путь его провожало более тысячи человек: армяне, чеченцы, русские, ингуши и караимы.

В Комитете без излишнего шума формировалась новая оперативная группа. Двое коллег из Пятого отдела, бывшие пограничники, с которыми Игорь быстро подружился, обратились с просьбой зачислить в новую оперативную группу, и их желание удовлетворили. Игорю же сказали, что он, во-первых, служит во Втором отделе и, во-вторых, еще не освоился в специфике местной обстановки, а добровольцев в Пятом отделе хватает.

Хасуху искали через все оперативные возможности КГБ, подключили возможности милиции. След преступника появлялся то в одном, то в другом месте. Даже узнали, что бандит лечился в одной из городских больниц. Но информация, как и раньше, приходила «в хвост». Люди не могли никак прийти в себя от страха. Все было тщетно. Тогда приняли решение: с помощью партийных и советских органов разъяснить свою позицию в отношении Хасухи всем жителям горных селений, рассказывая об истинном лице этого отщепенца.

Всю работу организовывало и координировало 3 отделение Пятого отдела. А до всех коллег доходили только скупые рассказы коллег. Но не зря были эти трудные многодневные командировки в высокогорье. Сельские сходы и беседы со старейшинами, работа с добровольными помощниками, усиленный по возможности милицейский режим в горных районах должны были принести свой результат. Перелом должен был наступить. Народ должен был сам защитить свою честь.

То воскресенье в конце октября Соколов запомнил на всю жизнь. Он долго играл с малолетней дочкой, пока жена категорическим тоном потребовала успокоиться и готовиться ко сну. Маша повела ребенка умываться и укладываться спать под чтение вечерней сказки. Игорь вытянулся на диван-кровать перед телевизором в ожидании вечерних новостей по первой программе. До показа художественного фильма по второй оставалось более часа.

Резкий звонок телефона разбудил начавшего дремать Игоря. Он поднялся, вышел в коридор и поднял трубку.

— Слушаю.

— Ты не слушай, а немедленно собирайся.— Игорь узнал голос своего приятеля Коля Воланов.

— Куда собираться? Не понял,— зевнул Соколов.

— Тревога объявлена. Дежурный сказал, что в горах была перестрелка. Быть надо, сам понимаешь, в полевой форме при сапогах,— отрезал Николай, и в трубке слышались гудки отбоя.

Полевая форма была, и Игорь быстро одел ее, поддев под китель легкий свитер. Весна весной, а в горах холодно. Вот с шинелью вышла заминка. Пошить повседневную он не успел, была только светло-серая парадная. Выбирать не приходилось. На немой вопрос жены беззаботно ответил:

— Да. Очередной обыск, не волнуйся.

От дома до Комитета недалеко. Через пятнадцать минут он был на месте. Дежурный приказал:

— Бери автомат и два рожка. Забери из сейфа свой «макаров».

Игорь так и сделал. Вместе с Волановым вернулись к дежурке. Они увидели председателя Комитета и своего начальника Быкова. Они громко что-то обсуждали.

— Я уверен, что там Хасуха,— горячился всегда сдержанный генерал.

— Все может быть,— отвечал Виктор Иванович.— Но сомнения у меня есть.

— Что гадать. Выезжай на место с опергруппой и разбирайся,— приказал председатель.

Офицеров собралось семь человек. Один сел за руль восьмиместного ГАЗика, Быков, покряхтывая,— напоминал о себе радикулит — сел рядом с ним. Шестеро расположились в кузове.

Машина рванулась с места, полетела сначала по асфальту засыпающего после выходных города, а затем затряслась по выбоинам шоссе, ведущего в горы. В дороге, похоже, Виктор Иванович хотел было объяснить поставленную задачу — но, повернувшись к офицерам,— передумал и снова стал смотреть в ветровое стекло. То, что сообщил дежурный ему, знали и они. Добавить нечего. Пока нечего.

Дорога пошла вверх, об этом сразу подсказал натужный звук мотора. Ехали в скупом свете фар. Куда? Кроме водителя никто не представлял, куда они двигаются. Тут до Соколова дошло, что он попал в оперативную группу случайно, по ошибке Коляши Воланова, но благоразумно решил промолчать.

Наконец ГАЗик остановился. Все вышли из машины, разминая затекшие ноги и энергично размахивая руками. К Быкову подбежал начальник местного райотделения КГБ и что-то стал ему рассказывать. Виктор Иванович внимательно слушал, иногда в знак согласия кивая головой.

Потом стало известно, что в этот день Хасуха впервые изменил своей привычке — пошел к селу еще засветло. Как никогда возникло желание погреться под теп-

лой крышей. Двоюродный брат не мог предать хотя бы потому, что он — родственник, и потому, что гость в доме неприкосновенен. А «Бык» далеко в городе. Брат рассказывал о бесстрашии этого неверного, и Хасуха сам хотел повстречаться с ним на тропе один на один, чтобы увидеть, как трусливо враз забегают его глаза.

Не вовремя попала на пути кучка сопливых детей, когда он вошел в овраг. Поэтому, не ответив на почтительное приветствие, ворчливо прогнал их от себя. Дети убежали. Он присел передохнуть и только собрался двинуться дальше, как по тропинке северного склона к нему спустились два молодых горца с охотничьими ружьями. Поинтересовались, не скрывая в голосе подозрения, кто он такой и что делает в их местах уважаемый незнакомец? Он нехотя ответил, что он — охотник, сбившийся с пути. Это парней не удовлетворило, но, переглянувшись, они молча повернулись и стали взбираться обратно вверх. Хасуха понял, что эти соплеменники принесут ему беду. Поэтому сорвал со спины винтовку и, почти не целясь, выстрелил им вслед, уже готовым скрыться.

Один из горцев вскрикнул и упал на край оврага. Второй же ударил из обоих стволов по Хасухе. Картечь хлестнула по левой ноге. Парень-дружинник умер почти мгновенно — пуля вошла в бедро и застряла под ключицей. Подбежавшие к этому моменту жители села отпрянули от края. Убитому помочь было невозможно. Его товарищ в иступлении перезаряжал ружье и палил в темноту провала. Сумерки стремительно покрывали землю. Двое мужчин принесли из села старую автомобильную покрывку, зажгли ее и сбросили вниз. Ее огонь мерцал в глубине.

За что уложил парня? Жесток, как в молодости.

Виктор Иванович смял пустую пачку сигарет и отбросил ее в сторону. Распечатал новую и снова закурил, прикрыв от ветра ладонями спичку.

Оперативники подошли к Быкову, а он курил и молчал, размышляя, кто там, на дне оврага. Он колебался, не мог сделать однозначного вывода, а поэтому нервничал, расхаживая за машиной. Потом, приняв решение, приказал по два человека, залечь в засаду до наступления рассвета. Предупредил, что бандит стреляет на звук, а где точно он находится, и что будет делать — пытаться уйти или лежать на месте до развязки, — неизвестно. Подошедший к ним в конце инструктажа зампред Хромов, предупредил — на внешнем кольце окружения уже расположилась рота солдат внутренних войск, поднятая, как и все по тревоге. С ними — дополнительная группа из Комитета.

— При приближении к «секрету» кого-то постороннего, сразу не стрелять, запросить пароль «Весна», — приказал заместитель председателя. — А потом уже действовать по обстановке. Прокуратура подтвердила, что заочно за совершенные преступления Хасуха приговорен судом к смертной казни. Можно стрелять на поражение. Чтобы ни произошло, со своей позиции без команды не уходить.

Коллега — начальник местного райотделения КГБ развел посты по местам, пожелав все удачи.

Соколов был в паре с Николаем. Они нашли местечко посуше. Воланов с торжественным шипением вытащил из внутреннего кармана шинели две республиканские газеты.

— Ты смотри, как ездили тренироваться на полигон, так и остались не тронутыми, радовался он. — Бери, Игорек, подстилай под себя.

— Это зачем? — не сообразил сразу Соколов.

— Все теплее будет! Слушай, а как ты оказался в этой опергруппе? Ты же на тренаж не ездил, — вдруг заинтересовался Николай.

— Здравсьте, я ваша тетя, — огрызнулся Соколов. — Ты же сам меня поднял с дивана.

— Да... Накладка получилась, — стал оправдываться Воланов. — Дежурный по комитету в первый раз просто сообщил мне об объявленном сборе. А после моего

звонка тебе он второй раз уточнил, что в горах перестрелка. А я закрутился со сбором и забыл тебе дать отбой. Извини.

— Да, ладно, Коляша, ты сам-то об этом помалкивай,— попросил Соколов.— Теперь уж никто не вспомнит о том, кто и как сегодня попал на операцию.

— И то — правда,— согласился Николай.

Они стали всматриваться в черное пространство перед собой. Но ничего кроме отсветов горячей автомобильной крыши внизу за небольшим бугорком не было видно.

Виктор Иванович стоял у ГАЗика, нервно выкуривая одну сигарету за другой. Улизнуть из оврага Хасуха не мог. Оба выхода надежно закрыты засадами. Но почему до сих пор не удается обнаружить преступника на дне оцепленной ловушки? Бросали ракеты. Помимо этого ребята из милиции пытались, спускаясь по более пологому склону, высветить фонарями черную глубину, но далеко он их не пускал — встречный выстрел мог прозвучать в любую секунду. Хватит жертв. Одна вчера уже была. Виктор Иванович посмотрел на небо. В разрывах облако стали видны яркие звезды. Высокогорье. Скоро рассвет.

Луна вышла из-за туч. Игорь повернул голову направо и замер. Метрах в десяти от них он заметил согнувшуюся тень человека. Он толкнул в бок Воланова. Они замерли. Не двигалась и тень.

— Что-то великовата тень,— прошептал Николай.

Прошла одна минута, другая. Не шевелится.

— Господи! Да это же тень от камня,— выдохнул Игорь.

— Луна высветила, черт возьми! — согласился Николай.— По этому поводу не мешает закутить. Как ты на это смотришь, Игореша?

— Никак. Я ничего не взял. Думал, что была очередная учебная тревога,— отмахнулся Соколов.— Дома поедим.

— Старик, ты не прав! — патетически воскликнул Воланов и вытащил из-за пазухи газетный сверток.— Чтобы ты делал без друзей? Немного, но на двоих хватит. Жаль, что запить нечем...

Черный хлеб с ароматно пахнувшей краковской колбасой был необыкновенно вкусен. Они, закончив жевать, по очереди отползали от места дислокации, чтобы покурить в рукав. После этого наступило, как им казалось, полное блаженство.

По команде Быкова в овраг снова стали запускать ракеты. Неожиданно зазвучали редкие винтовочные выстрелы. У Хасухи не выдержали нервы.

К Виктору Ивановичу подошел один из подчиненных и попросил разрешения аккуратно проникнуть к тому месту, где засекли винтовочные вспышки.

Нельзя! Надо ждать рассвета.

Легкий туман рассеялся, обнажилась гряда гор, окружающих долину. Небо уже очистилось, как будто горы скинули с себя черную бурку ночи, и засеребрились их вершины.

Он дал команду стягивать кольцо. Офицеры, поначалу согнувшись, а потом пошли во весь рост, Соколов и Воланов, как все, передернули затворы «калашниковых» и ускорили шаг. У кого-то не выдержали нервы — прозвучал автоматный выстрел, вся цепь начала стрелять в сторону догорающей крыши.

— Своих не перестреляйте,— услышали они за спиной отчаянный крик Хромова.

— Да вон! Лежит за камнем! — раздался чей-то крик, и стрельба сразу прекратилась.

Все побежали.

Когда Виктор Иванович подошел к труп, офицеры молча расступились. Хасуха лежал навзничь, сжимая левой рукой цевье, а правой — затвор мосинской трехлинейки. Две ленты с патронами перепоясывали суконную куртку, как у матроса времен Октябрьского переворота. Рядом лежала матерчатая сумка. Половину затылка снесло пулей, и были видны окровавленные мозги.

Соколов равнодушно смотрел на сухие скулы бандита, передернутые гримасой боли. Ему показалось, что в открытых глазах Хасухи застыла ненависть.

Быков что-то не попадал ответил суетливому, невысокого роста, следовательно прокуратуры, который просил всех отойти от трупа, прошел мимо размахивающего наганом заместителя начальника республиканского уголовного розыска. Его сотрудники стояли не шевелясь и глядели на начальника. Близкая смерть ошеломила их. Тот махнул рукой — расходитесь. Возвратившись в родные края, Игорь, случайно встретившись, узнал в начальнике областного уголовного розыска того самого милиционера, который размахивал в горах наганом.

Соколов поднял голову. По краям оврага стояли жители села. Виктор Иванович отдал команду, и опергруппа, не оглядываясь, медленно побрела к своей машине.

ГАЗик медленно спускался вниз по узкой дороге. Пробивая толпу облаков, над хмурыми горами показалось утреннее солнце. Оно только светило и не могло согреть людей, сидящих в машине. Сильный ветер гнал по склонам оставшиеся с осени сухие листья. Игорь посмотрел в боковое окно и обернулся. Обочины не было видно, слева, рядом, вниз уходила пропасть. А как же они поднимались ночью при свете фар? За сосало «под ложечкой» и по спине прополз холодный пот.

Группа через полтора часа возвратилась в город. Сдали АКМ в дежурную часть. Офицеры вышли на свежий воздух и прислонились к стене около входа в Комитет госбезопасности. Повседневные шинели некоторых были в грязи. На парадной шинели Соколова — не пятнышка. Вроде бы на одной земле лежали. Удивительно!

Солнце обжигало воспаленные глаза. Все молчали, курящие достали пачки с остатками сигарет. Закурили...

Понедельник. Восемь утра. Сотрудники «конторы глубокого бурения» спешили на традиционную профессиональную учебу, проскакивали мимо, не обращая внимания на своих коллег. Только Джоник Варздатович, начальник одного из самостоятельных оперативных отделений, остановился и сочувственно спросил: — Ребята, вы-то, где были?

— Хасуху е... Положили на землю сырую,— ответил кто-то.

— Не может быть!

— Может, Джоник, может!

— Мать твою так! — коротко прокомментировал армянин и пошел ко входу. Спрашивать о деталях произошедшего он не стал. Не ко времени и не к месту. Потом все узнается.

— А не употребить ли нам по рюмочке чая, Игорь?— вывел Соколова из оцепенения голос Воланова.

— Почему бы нет? — улыбнулся Соколов.— Я не возражаю.

В магазине они купили бутылку «Ркацители» и пошли в невзрачное кафе. Благо, что квартира находилась рядом. Игорь предварительно позвонил по телефону-автомату, что был при входе.

— Это ты, Машенька? — елеиным голосом спросил Игорь.— У меня все в порядке. Просто затянулся обыск. Скоро буду.

— Игорь, врать ты так и не научился,— засмеялась на другом конце провода жена.— У нас на телевидении все бурно обсуждают события в горах. Да что телевидение, весь город уже все знает. Я знаю, где ты был. Ты один, откуда звонишь? Весь город шепчется, что Хасуху убили.

— Да нет, с Николаем,— ответил Соколов.

— Понятно. Сегодня можно. Только пусть Воланов позвонит жене, она только что мне звонила. Все.— Жена положила трубку.

Пока Игорь нарезал брынзу и разливал вино, Николай коротко переговорил с супругой, и, довольный, сел за стол.

— Будем живы! — Они подняли стаканы с «Ркацители».

Сухое вино сегодня оказалось крепче спирта.